З. Фрейд. Из истории одного детского невроза

I. Предварительные замечания

Заболевание, о котором я намерен здесь сообщить, – опять-таки, в виде отрывка – отличается целым рядом особенностей, которые необходимо отдельно подчеркнуть, прежде чем приступить к изложению самого случая. Случай этот касается молодого человека, впавшего на 18-м году жизни, после гонорейной инфекции, в тяжелую болезнь, выражавшуюся в полной его зависимости от окружающих; он совершенно не был способен к существованию к тому времени, когда – спустя несколько лет после заболевания – с ним было предпринято психоаналитическое лечение. Первые десять юношеских лет до момента заболевания он прожил почти в нормальном состоянии здоровья и закончил среднее образование без особых затруднений. Но в предшествующие годы благополучие нарушалось тяжелыми невротическими страданиями, начавшимися как раз перед самым днем его рождения, на пятом году жизни, в форме истерии страха (фобии животных), превратившейся затем в невроз навязчивости с религиозным содержанием, причем некоторые симптомы сохранились до восьмилетнего возраста.

Содержание моего сообщения составит только этот детский невроз. На прямое предложение пациента с просьбой дать ему полное описание его заболевания, лечения и выздоровления я ответил отказом, так как считаю эту задачу технически неосуществимой и социально недопустимой. Благодаря этому пропадает возможность показать связь между его инфантильным заболеванием и более поздним окончательным. Относительно последнего я могу сказать только, что больной провел много времени в немецких санаториях, и тогда его заболевание авторитетным специалистом было классифицировано как маниакально-депрессивное. Этот диагноз был несомненно верен по отношению к отцу пациента, жизнь которого, полная интересов и деятельности, неоднократно нарушалась припадками тяжелой депрессии. У сына, при многолетнем наблюдении, мне не удавалось ни разу наблюдать перемену настроения, которая по своей интенсивности или по условиям своего возникновения превосходила бы то, что было естественно при той или иной создавшейся психической ситуации. Об этом случае у меня сложилось представление, как об одном из тех, в которых клиническая психиатрия ставит разнообразные и различные диагнозы и которые нужно понимать как последствие невроза навязчивости, самопроизвольно закончившегося выздоровлением с дефектом.

В моем описании будет, следовательно, идти речь об инфантильном неврозе, подвергнувшемся анализу не тогда, когда он был, а лишь пятнадцать лет спустя после того, как он прошел. Такое положение имеет свои преимущества, но вместе с тем и свои недостатки по сравнению с другим. К анализу, производимому непосредственно над невротическим ребенком, кажется, можно отнестись с большим доверием, но такой анализ не может быть очень содержателен; приходится подсказывать ребенку очень много слов и мыслей, и все же самые глубокие слои могут оказаться непроницаемыми для сознания. Анализ детского заболевания, проходящий через среду воспоминаний, у взрослых и духовно зрелых свободен от этих

ограничений; но необходимо принять во внимание искажения и переработку, которым подвергаются собственные воспоминания, когда рассматриваешь их ретроспективно в более поздний период жизни. В первом случае получаются, пожалуй, более убедительные результаты, второй – гораздо поучительней.

Во всяком случае, можно утверждать, что анализы детских неврозов могут претендовать на особенно повышенный теоретический интерес. Для правильного понимания неврозов взрослых они дают приблизительно столько же, сколько детские сны для снов взрослых. Дело не в том, что их легче разобрать или что они беднее элементами; трудность проникновения в душевную жизнь ребенка делает работу врача при их анализе особенно тяжелой. Но в них отпадает так много из позднейших наслоений, что самое существенное в неврозе выступает особенно ярко. Сопротивление, оказываемое выводам психоанализа, в настоящей фазе борьбы за психоанализ, как известно, приняло новые формы. Прежде довольствовались тем что отрицали действительную реальность утверждаемых анализом фактов, а для этого лучшим техническим методом было – избегать каких-либо проверок личным опытом.

Этот прием как будто постепенно сходит на нет; теперь идут другим путем: факты признают, но выводы, к которым эти факты приводят, стараются истолковать как-нибудь по-иному и таким образом их обезвредить, чтобы снова освободиться от всех неприличных новинок. Изучение детских неврозов убеждает в полной несостоятельности этих нетрудных или насильственных попыток перетолковать все по-иному. Оно доказывает преобладающее участие так охотно отрицаемых либидинозных влечений в формировании невроза и открывает отсутствие отдаленных культурных целей и стремлений, неизвестных ребенку и не имеющих поэтому для него никакого значения.

Другая черта, на которую излагаемый здесь анализ пытается обратить внимание, находится в связи с тяжестью заболевания и длительностью его лечения. Анализы, приводящие в короткий срок к благоприятному исходу, ценны для самочувствия терапевта и служат доказательством врачебного значения психоанализа; для успехов научного познания они, по большей части, ничего не дают. На них ничему новому не научишься. Они только потому так быстро удаются, что все необходимое известно уже заранее. Новое можно узнать только из анализов, представляющих особые трудности, для преодоления которых требуется, конечно, много времени. Только в таких случаях удается добраться до самых глубоких и примитивных слоев душевного развития и там найти разрешение проблем позднейших душевных формирований. Тогда начинаешь думать, что только тот анализ, который проник так далеко, заслуживает этого названия. Разумеется, один только случай не учит всему, что хотелось бы знать. Вернее говоря, он мог бы научить всему, если только сам в состоянии все понимать и не вынужден довольствоваться немногим благодаря собственной неопытности при восприятии.

В отношении таких плодотворных трудностей описываемый здесь случай болезни не оставляет желать ничего лучшего. Первые годы лечения не дали почти никакой перемены. Счастливое стечение обстоятельств привело к тому, что, несмотря ни на что, внешние условия сделали возможным продолжение терапевтических попыток. Охотно допускаю, что при менее благоприятных условиях лечение через некоторое время было бы прекращено; что касается точки зрения врача, то я могу сказать только, что в таких случаях последний должен вести себя так же «вне времени», как и само бессознательное, если только он хочет что-нибудь узнать и

чего-нибудь достичь. Это ему в конце концов удастся, если он в состоянии отказаться от близорукого терапевтического честолюбия. Ту бездну терпения, покорности, понимания и доверия, которые требуются от больного и его родных, можно встретить только в немногих случаях. Но аналитик может себе сказать, что выводы, полученные в одном случае после такой длительной работы, помогут ему значительно сократить срок лечения следующего такого же тяжелого заболевания и таким образом постепенно преодолеть «вневременность» бессознательного, подчинившись ему в первый раз.

Пациент, которым я здесь занят, долгое время оставался недоступным под броней «установки» покорного безучастия. Он внимательно слушал, понимал, но его ничто не трогало. Его безупречная интеллигентность была как бы отрезана от действовавших сил влечений, господствовавших над всем его поведением в немногих оставшихся ему жизненных отношениях. Потребовалось длительное воспитание, чтобы заставить его принять самостоятельное участие в работе; а когда вследствие этих стараний наступило первое облегчение, он немедленно прекратил работу, чтобы не допустить дальнейших изменений и, таким образом, остаться в создавшейся уютной обстановке. Его боязнь перед необходимостью самостоятельного существования была так велика, что превосходила все страдания, вызванные болезнью. Нашелся только один путь, который помог преодолеть ее. Мне пришлось ждать до тех пор, пока привязанность к моей личности настолько окрепла, что составила противовес этой болезни, и тогда я использовал этот фактор против другого. Руководствуясь верными признаками своевременности, я решил, что лечение должно быть закончено к определенному сроку независимо от того, насколько оно пока продвинулось вперед. У меня было твердое решение не нарушать этого срока; пациент, наконец, поверил серьезности моего намерения. Под неумолимым давлением этого определенного срока его сопротивление пошло на уступки, как и его привязанность к болезни, и тогда анализ в относительно очень короткое время вскрыл весь материал, который сделал возможным разрешение его задержек и уничтожение его симптомов. К этому последнему периоду работы, когда сопротивление временно исчезло, и больной производил впечатление просветленности, обычно возможной только в гипнозе, относятся все те объяснения, которые сделали для меня возможным понимание детского невроза.

Таким образом, ход этого лечения иллюстрирует уже давно установленное аналитической техникой положение, что длина пути, который должен пройти анализ, и обилие материала, которое приходится на этом пути одолеть, не имеют значения в сравнении с сопротивлением, оказываемым во время работы самим больным: с ними приходится считаться лишь постольку, поскольку они по необходимости пропорциональны этому сопротивлению. Это тот же процесс, какой имеет место, когда наступающая армия тратит недели и месяцы, чтобы пройти расстояние, которое в мирное время можно проехать за несколько часов скорым поездом и которое за некоторое время до того было пройдено враждебной ей армией в несколько дней. Третья особенность описанного здесь анализа опять-таки затруднила решение опубликовать его. Результаты его в общем вполне удовлетворительно совпадали с нашими прежними знаниями или составляли хорошее к ним дополнение. Но некоторые детали казались мне такими замечательными и невероятными, что у меня явилось сомнение в возможности завоевать для них доверие других. Я требовал от пациента строжайшей критики по отношению к своим воспоминаниям, но он не находил в своих показаниях ничего невероятного и продолжал на них

настаивать. Читатели, по крайней мере, должны быть убеждены в том, что я сам передаю только сообщенное мне как независимое переживание, без всякого влияния со стороны делаемых мною предположений. В таком случае мне ничего другого не оставалось, как вспомнить ту мудрость, которая гласит, что между небом и землей происходят такие вещи, какие и не снились нашим мудрецам. Тому, кто сумел бы еще основательней освободиться от влияния предвзятых убеждений, удалось бы, наверное, открыть еще больше подобного рода вещей.

II. Обзор среды и история болезни

Историю моего больного я не могу писать ни чисто исторически, ни чисто прагматически; не могу дать ни истории лечения, ни истории болезни, а вынужден комбинировать эти оба способа изложения. Как известно, не найдено еще пути передать в изложении то личное убеждение, которое создается в результате проведенного анализа. Исчерпывающими протокольными записями во время аналитического сеанса, наверное, ничего не сделаешь; составление их исключается к тому же и техникой лечения. Поэтому подобные анализы не следует публиковать с целью убедить тех, кто до сих пор относится отрицательно и недоверчиво. Можно надеяться дать что-нибудь новое только таким исследователям, которые составили уже себе определенное убеждение на основании собственного опыта с больными.

Начну с того, что опишу мир, окружавший ребенка, и то, что легко было узнать из истории его детства и что в течение многих лет лечения не дополнялось и не выяснялось.

Рано женившиеся родители жили еще в счастливом браке, на который первую тень бросили их болезни: женская болезнь матери и первые припадки депрессии у отца, имевшие последствием его отсутствие дома. Пациент учится, разумеется, только гораздо позже понимать болезнь отца, но с болезненным состоянием матери он знакомится уже в ранние детские годы. Из-за этой болезни мать сравнительно мало занималась детьми. Однажды, быть может, на шестом году жизни, он слышит, идя рядом с матерью и держа ее за руку, ее жалобы врачу, которого она провожает на станцию; он запоминает ее слова с тем, чтобы использовать их для себя. Он не единственный ребенок, у него есть еще сестра, старше его на два года, живая, одаренная и преждевременно испорченная, которой суждено сыграть большую роль в его жизни.

За ним ухаживает, насколько хватает его воспоминаний, необразованная старая женщина из народа, питающая к нему неисчерпаемую нежность. Он заменил ей рано умершего сына. Семья живет в имении, из которого летом переезжает в другое. Большой город находится недалеко от обоих имений. Целый период его детства составляет продажа родителями имений и переезд в город. Часто в течение долгого времени в том или другом имении проживают близкие родственники, братья отца, сестры матери, их дети и дедушка и бабушка со стороны матери. Летом обыкновенно родители уезжают на несколько недель. Одно «покрывающее воспоминание» рисует ему картину, как он со своей няней смотрит вслед экипажу, увозящему отца, мать и сестру, а затем спокойно возвращается домой, Он был тогда, вероятно, очень маленьким. Следующим летом сестра осталась дома; была приглашена гувернантка-англичанка, которой было поручено наблюдение за детьми.

В более позднем возрасте ему много рассказывали о его детстве. Многое он сам знал, но, разумеется, без временной или внутренней связи. Одно из этих преданий, несметное число раз

повторяемое впоследствии, по поводу его позднейшего заболевания знакомит нас с проблемой, разрешение которой нас будет занимать. Сначала он был будто бы кротким, послушным и спокойным ребенком, так что обыкновенно говорили, что ему следовало бы быть девочкой, а старшей сестре его – мальчуганом. Но однажды родители, возвратившись из летней поездки, нашли в нем большую перемену. Он стал недовольным, раздражительным, несдержанным, обижался по всякому поводу, бесился и кричал, как дикарь, так что родители, видя, что состояние его не меняется, высказывали опасение, что позже не будет возможности посылать его в школу. Это было в то лето, когда появилась англичанка-гувернантка, которая оказалась глупой, несносной особой, а к тому же еще и пьяницей. Мать поэтому была склонна привести в связь перемену в характере мальчика с влиянием англичанки, предполагая, что последняя привела его в раздражение своим обращением. Проницательная бабушка, проведшая лето с детьми, придерживалась мнения, что раздражительность ребенка вызвана раздорами между англичанкой и няней. Англичанка неоднократно называла ее ведьмой и выгоняла из комнаты. Ребенок открыто принимал сторону любимой няни и проявлял свою ненависть к гувернантке. Как бы то ни было, вскоре после возвращения родителей англичанку отпустили, а в несносном характере ребенка в то же время ничто не переменилось.

У пациента сохранилось воспоминание об этом тяжелом времени. Он рассказывает, что первое бурное проявление его характера имело место на рождество, когда он не получил двойного подарка, как то ему следовало, потому что день рождества был одновременно и днем его рождения. Своими капризами и обидами он не щадил даже любимую няню и, может быть, ее-то мучил самым жестоким образом. Но эта фаза изменения характера неразрывно связана в его воспоминаниях со многими другими странными и болезненными явлениями, которых он не умеет распределить во временной последовательности. Все, что сейчас последует в рассказе, – что не могло иметь место в одно и то же время и что полно внутреннего противоречия, – он приводит к одному и тому же времени, которое определяет как «еще в первом имении». Он полагает, что выехал из этого имения, когда ему было пять лет. Он помнит, что страдал «страхом», чем пользовалась его сестра, чтобы мучить его. У него была книга с картинками, в которой был изображен волк, стоявший на задних лапах и широко шагавший. Когда ему попадалась на глаза эта книга, он начинал исступленно кричать, боясь, что придет волк и сожрет его. Но сестра всегда умела так устраивать, что ему приходилось смотреть на эту картинку, и радовалась его испугу. Однако он боялся и других животных, маленьких и больших. Однажды он гнался за красивой большой бабочкой с крыльями в желтых полосках, заостренных к концу, желая поймать насекомое (это был, вероятно, адмирал). Вдруг его охватил ужасный страх перед этим насекомым, и он с криком прекратил ловлю. Он питал также к жукам и гусеницам страх и отвращение. Но ему удалось вспомнить, что в то же время мучил жуков и разрезал гусениц; и лошади внушали ему жуткое чувство. Когда били лошадь, он не мог сдерживать крика и однажды должен был из-за этого уйти из цирка. В других случаях он сам любил бить лошадей. Но по воспоминаниям своим он не мог решить, проявлялись ли эти противоположные отношения к животным одновременно или же одно отношение сменялось другим, а в последнем случае, в какой последовательности и когда. Он не мог также сказать, сменилось ли у него это тяжелое время фазой болезни или сохранилось и в течение последней. Во всяком случае, его последующие рассказы оправдывали предположение, будто в те детские годы он перенес вполне

явное заболевание неврозом навязчивости. Он рассказал, что долгое время был очень набожен. Перед сном он должен был долго молиться и творить бесконечно длинный ряд крестных знамений. Вечером он обыкновенно со скамейкой, на которую взбирался, обходил все иконы, висевшие в комнате, и проникновенно целовал каждую. С этим благочестивым церемониалом очень плохо, – а может быть, очень хорошо, – вязалось то обстоятельство, что он вспоминал богохульные мысли, возникавшие в уме его, как наваждение дьявола. Он должен был думать: бог – свинья или бог – кал. Однажды во время путешествия на немецкий курорт он страдал от навязчивости, так как должен был думать о святой троице, когда видел на улице три кучки навоза или другого кала. Тогда же он совершал своеобразный церемониал, когда видел людей, внушавших ему жалость: нищих, калек, старцев. Он должен был с шумом выдохнуть воздух, чтобы не стать таким, как они; при определенных других условиях – втягивать также с силой воздух. Мне казалось вполне естественным предположение, что эти явные симптомы невроза навязчивости относятся к несколько более позднему возрасту и к периоду развития, чем явления страха и жестокости по отношению к животным.

Более зрелые годы жизни пациента протекали при очень неблагоприятном отношении к отцу, который тогда после неоднократных припадков депрессии не мог скрывать болезненных сторон своего характера. В течение первых лет детства взаимоотношения между отцом и сыном отличались большой нежностью, воспоминания о которой сохранились в памяти ребенка. Отец очень любил его и охотно с ним играл. Мальчик с малых лет гордился отцом и говорил, что хочет быть таким господином, как тот. Няня сказала ему, что сестра принадлежит матери, а он – отцу, чем он был очень доволен. На исходе детства между ним и отцом произошло охлаждение. Отец явно оказывал предпочтение сестре, что очень огорчало мальчика. Позже в отношениях к отцу доминировал страх.

Около восьмилетнего возраста исчезли все явления, которые пациент относит к периоду жизни, начавшемуся в «испорченности». Они исчезли не сразу, а несколько раз появлялись снова, но в конце концов исчезли, как думает больной, под влиянием учителей и воспитателей, которые к тому времени заняли место воспитательниц-женщин. Таковы в общих контурах загадки, разрешение которых предстояло найти психоанализу: откуда взялась внезапная перемена характера мальчика, что означала его фобия и его перверсии, каким образом нашла на него его навязчивая набожность и какая связь между этими всеми феноменами? Еще раз напоминаю, что наша терапевтическая работа касалась более позднего рецентного невротического заболевания и что объяснение тех более ранних проблем могло получиться только тогда, когда течение анализа на некоторое время отступало от настоящего и вынуждало нас направляться обходным путем через самое раннее детство.

III. Соблазн и его непосредственные последствия

Самое естественное предположение имело, понятно, в виду англичанку-гувернантку, в присутствии которой наступила перемена в мальчике. У него сохранились два непонятных «покрывающих воспоминания» относительно нее. Однажды, идя впереди, она сказала тем, кто за ней шел: посмотрите-ка на мой хвостик! Однажды во время езды, к великой радости детей, у нее улетела шляпа. Это указывало на кастрационный комплекс и вызывало предположение, что ее

угроза по адресу мальчика много способствовала тому, что он стал так странно себя вести. Высказывать анализируемому такого рода предположения не представляет никакой опасности; они никогда не вредят анализу, если оказываются ошибочными, и никто не станет их высказывать, не имея надежды приблизиться благодаря этому к действительности. Под непосредственным влиянием этого предположения у больного появились сновидения, толкование которых не вполне удавалось, но которые, как будто, всегда вращались вокруг одного и того же содержания. Поскольку их можно было понять, дело в них шло об агрессивных действиях мальчика по отношению к сестре или гувернантке и об энергичных выговорах и наказаниях за это. Как будто… после купания… обнажить сестру… покрывала… или одеяла… хотел сорвать или что-то в этом роде. Но из толкования не удавалось получить чего-либо определенного, и когда создалось впечатление, что в этих снах один и тот же материал разрабатывается различным образом, то не могло уже подлежать сомнению, как следует понимать эти мнимые воспоминания. Речь могла быть тут только о фантазиях, относящихся к детству, которые некогда возникли у больного, вероятно, в юношеские годы и которые теперь снова появились в такой трудно узнаваемой форме.

Понимание их далось сразу, когда пациент вдруг вспомнил тот факт, что сестра соблазнила его на сексуальные поступки, «когда он был еще совсем мал, в первом имении». Сперва явилось воспоминание, что в клозете, которым дети часто пользовались вместе, она предложила ему: покажем друг другу popo (задние части), и за словами последовало и дело. Позже припомнилось более существенное в соблазне ее во всех деталях по времени и месту. Дело происходило весной, в такое время, когда отца не было дома; дети играли на полу в комнате, а мать что-то делала в соседней. Сестра схватила его орган, играла с ним и при этом рассказывала как бы в объяснение непонятные вещи про няню. Няня делает то же самое со всеми, например, с садовником, она ставит его половой орган вниз и затем берет его гениталии.

Таким образом, понятны стали предугаданные прежде фантазии. Они должны были уничтожить воспоминания о событии, которое оскорбляло позже мужское самолюбие пациента, и достигли этой цели, заменив историческую истину чем-то желательным. Согласно этим фантазиям, не он играл пассивную роль по отношению к сестре, а наоборот, он был агрессивен, хотел видеть сестру обнаженной, был остановлен и наказан и поэтому впал в гнев, о котором так много рассказывает домашняя традиция. Было также целесообразно вплести в эту выдумку гувернантку, которой мать и бабушка приписывали главную вину в его припадках гнева. Эти фантазии вполне соответствовали сложившимся легендам, которыми со временем великая и гордая нация постарается окутать слабость и неудачи своего появления на арене истории.

В действительности, во всей этой истории соблазна и его последствий гувернантка могла принимать только весьма отдаленное участие. Сцена с сестрой имела место весною того же года, в летние месяцы которого появилась гувернантка для замены отсутствующих родителей. Враждебность мальчика к гувернантке возникла иным образом. Тем, что она ругала няню и назвала ее ведьмой, она пошла в его глазах по стопам сестры, рассказавшей впервые чудовищные вещи про няню, и, таким образом, дала ему возможность проявить по отношению к ней ту же антипатию, которая, как мы услышим, возникла к сестре вследствие соблазна.

Но соблазн, совершенный сестрой, несомненно, не был фантазией. Достоверность его была подтверждена рассказом в более поздние зрелые годы, которого пациент никогда не забывал.

Двоюродный брат, старший более чем на десять лет, в беседе о сестре однажды рассказал ему, что он прекрасно помнит, что она была любопытная чувственная девочка. Ребенком четырех или пяти лет она как-то взобралась к нему на колени, расстегнула брюки, чтобы взять в руки его орган.

Я прерываю теперь историю детства моего пациента, чтобы сказать несколько слов о этой сестре, ее развитии, дальнейшей судьбе и о ее влиянии на него. Она была двумя годами старше его и стояла всегда выше его по своему развитию. Ребенком она была мальчишески шаловливым, а затем стала блестяще развиваться интеллектуально, отличалась острым реалистическим умом, в занятиях предпочитала естественные науки, но также писала и стихи, которые отец ценил очень высоко. Она духовно значительно превосходила своих первых многочисленных поклонников и обычно смеялась над ними. Но с началом двадцатых годов своей жизни она стала впадать в удрученное состояние, жаловалась, что недостаточно красива, и стала избегать общества. Ее отправили путешествовать в сопровождении близкой немолодой дамы; по возвращении она рассказывала совершенно невероятные вещи о том, как ее спутница ее мучила, но сохраняла, однако, сильную привязанность к своей мнимой мучительнице. Во время второго путешествия вскоре после этого она отравилась и умерла вдали от дома. Вероятно, ее заболевание было началом Dementia praecox. Она служила одним из доказательств значительной невропатической наследственности семьи, но никоим образом не единственным доказательством ее. Один дядя, брат отца, после многих лет жизни, полной чудачеств, умер, проявляя симптомы тяжелого невроза навязчивости; значительное число родственников страдало и страдает более легкими нервными болезнями.

Для нашего пациента сестра была в детстве – не считая соблазна – неудобным конкурентом в отношениях к родителям; беспощадно подчеркиваемое превосходство ее было для него очень тягостным. Он особенно завидовал ей за то уважение, которое отец оказывал ее умственным способностям и проявляемой интеллектуальной деятельности, между тем как он, интеллектуально подавленный со времени возникновения его невроза навязчивости, должен был довольствоваться более низкой оценкой. С четырнадцатилетнего возраста отношения между братом и сестрой стали улучшаться; сходный духовный склад и общая оппозиция родителям сблизила их настолько, что между ними установились самые лучшие приятельские отношения. Во время одного бурного сексуального возбуждения при наступлении половой зрелости он решился попытаться завязать с ней интимные физические отношения. Когда же она ему отказала в такой же мере решительно, как и ловко, он немедленно обратился к молоденькой крестьянской девушке, прислуживавшей в доме и носившей то же имя, что и сестра. Этим он совершил шаг, предопределивший гетеросексуальный выбор объекта, потому что все девушки, в которых он впоследствии, при явных признаках навязчивости, влюблялся, были также прислугой, в отношении образования и интеллигентности уступавшими ему. Если все эти лица были заместительницами запретной для него сестры, то нельзя не признать, что решающим моментом при выборе объектов была его тенденция унизить сестру, уничтожить ее интеллектуальное превосходство, которое в былое время так подавляло его.

Мотивам такого рода, продиктованным волей к могуществу, влечением индивида к самоутверждению, Адлер подчинил, наряду со всеми другими проявлениями, также и сексуальное поведение человека. Никогда не отрицая значения таких мотивов могущества, я

никогда не был убежден в том, что они действительно могут играть приписываемую им доминирующую и исключительную роль. Если бы я не довел анализа моего пациента до конца, то наблюдения, сделанные мною в этом случае, должны были бы послужить поводом к тому, чтобы исправить мое предвзятое мнение в пользу взглядов Адлера. Неожиданным образом конец этого анализа дал новый материал, из которого стало ясно, что эти мотивы могущества (в нашем случае тенденция унижения) влияли на выбор объекта только как дополнительная тенденция и как рационализация, между тем как настоящая, глубокая, детерминирующая причина дала мне возможность остаться при моих прежних убеждениях.

Когда получили известие о смерти сестры, рассказывал пациент, он почувствовал еле ощутимый намек на душевную боль. Он заставлял себя проявлять признаки печали и с полным душевным спокойствием мог радоваться тому, что остался теперь единственным наследником. К этому времени он находился уже в течение нескольких лет во власти своей последней болезни. Должен сознаться, что одно только это сообщение лишило меня на некоторое время уверенности в правильности моего диагноза. Можно было допустить, что боль из-за потери самого любимого члена семьи в проявлении своем наткнется на задержку из-за непрекращающейся ревности и вследствие примеси ставшей бессознательной инцестуозной влюбленности, но я все же не мог отказаться от мысли, что непроявленный взрыв душевной боли должен был найти себе какую-нибудь замену. Эта замена в конце концов нашлась в другом, оставшемся ему непонятным проявлении чувств. Несколько месяцев спустя после смерти сестры он сам совершил путешествие в ту местность, где она умерла, посетил там место дуэли великого поэта, бывшего тогда его идеалом, и проливал горячие слезы на этой могиле. Эта реакция казалась ему самому странной, потому что ему было хорошо известно, что со смерти обожаемого поэта прошло больше, чем два поколения. Он понял ее только тогда, когда вспомнил, что отец часто сравнивал стихотворения покойной сестры с произведениями великого поэта. Другое указание на правильное понимание этого акта почитания, оказанного как будто поэту, он случайно привел в своем рассказе. Прежде он неоднократно повторял, что сестра застрелилась, а теперь он должен внести поправку, что она приняла яд. Но поэт на дуэли был застрелен из пистолета.

Теперь возвращаюсь к истории брата, которую я, однако, с этого момента должен в некоторой части изложить прагматически. Оказалось, что в то время, когда сестра начала свои попытки соблазна, мальчику было 3*1/4 – 3 1/2* года. Это произошло, как сказано, весною того же года, в летние месяцы которого появилась гувернантка и когда осенью родители, по своем возвращении домой, нашли в нем такую глубокую перемену. Весьма естественно эту перемену в нем привести в связь с имевшим место в этот период времени пробуждением его сексуальности.

Как реагировал мальчик на соблазн его старшей сестры? Ответ гласит: отказом, но отказ относился к лицу, а не к делу. Сестра, как половой объект, оказалась для него неприемлемой, вероятно потому, что отношение к ней вследствие соревнования из-за любви родителей приняло враждебный характер. Он стал ее избегать, и ее ухаживания скоро кончились. Но он старался вместо нее найти другое любимое лицо, и рассказы самой сестры, ссылавшейся на пример няни, руководили его выбором. Он начал поэтому играть перед няней своим органом, что, как и во многих других случаях, когда дети не скрывают своего онанизма, должно пониматься, как попытка соблазнить. Няня разочаровала его, сделала серьезное лицо и сказала, что нехорошо так делать: у детей, которые этим занимаются, на этом месте делается «рана».

Влияние этих слов, напоминающих угрозу, можно проследить в различных направлениях. Благодаря им ослабла его привязанность к няне. Теперь он мог бы на нее рассердиться; позже, когда наступили его припадки ярости, оказалось также, что он действительно озлоблен против нее. Но для него было характерно, что всякую либидинозную позицию, от которой он должен был отказаться, он сначала упорно защищал против новой. Когда на сцене появилась гувернантка и обругала няню, прогнала из комнаты, пыталась подорвать ее авторитет, он преувеличил свою любовь к няне и проявил неприязнь и упрямство по отношению к нападающей гувернантке. Тем не менее втайне он стал искать другой сексуальный объект. Соблазн указал ему на пассивную сексуальную цель – искание чьих-либо прикосновений к своим гениталиям; мы услышим, от кого он хотел этого добиться и какие пути вели его к этому выбору.

В полном соответствии с нашим ожиданием мы узнаем, что с первыми генитальными возбуждениями начались его сексуальные исследования и что скоро он столкнулся с проблемой кастрации. В это время он имел возможность наблюдать при мочеиспускании двух девочек, свою сестру и ее приятельницу. Благодаря своей проницательности, он мог бы и сам, наблюдая их, понять настоящее положение вещей, но он вел себя при этом так, как нам это известно о других мальчиках. Он отклонил мысль, что видит здесь подтверждение раны, которой угрожала няня, и объяснил себе, что это «переднее poро» девочек. Такое решение не покончило с темой о кастрации; во всем, что он слышал, он находил новые намеки на нее. Когда однажды детям дали окрашенные продолговатые конфеты, то гувернантка, склонная к диким фантазиям, объявила, что это куски разрезанных змей. Это напомнило ему, что отец однажды во время гуляния увидел змею и разрубил ее своей палкой на куски. Он слышал, как читали историю (из «Рейнеке-Лиса»), как волк хотел зимою ловить рыбу и пользовался своим хвостом для приманки, причем хвост примерз и оторвался. Он расспрашивал о различных названиях, которыми обозначают лошадей в зависимости от сохранения ими половых признаков. Он был, следовательно, занят мыслями о кастрации, но не верил в нее еще и не боялся ее. Известные ему в то время сказки навели его на другие сексуальные проблемы. В «Красной Шапочке» и в «Семерых козлятах» детей вынимают из живота волка. Был ли, следовательно, волк женским существом или, может быть, и мужчины могли иметь в животе детей? В то время это еще не было решено. Впрочем, во время этих исследований он не знал еще страха перед волком.

Один из рассказов пациента откроет нам путь к пониманию перемены в характере, которая наступила у него во время отсутствия родителей в отдаленной связи с соблазном. Он рассказывает, что после отказа няни и ее угроз он скоро перестал онанировать. Начинающаяся сексуальная жизнь под руководством генитальной зоны подверглась, таким образом, внешней задержке и отброшена была под влиянием этой задержки на прежнюю фазу прегенитальной организации. Вследствие подавления онанизма сексуальная жизнь мальчика приняла анально-садистский характер. Он стал раздражительным, проявлял склонность к мучительству и удовлетворял себя таким образом, мучая людей и животных. Главным его объектом была любимая няня, которую он ухитрялся мучить до того, что она заливалась слезами. Таким образом он мстил ей за полученный отказ и одновременно удовлетворял свое половое желание в форме, соответствующей регрессивной фазе. Он начал проявлять жестокость к маленьким животным, ловить мух, чтобы отрывать у них крылья, давить жуков; в фантазии он любил бить также и крупных животных, лошадей. Это все были безусловно активные, садистские проявления; об

анальных чувствованиях этого времени речь пойдет в дальнейшем.

Чрезвычайно ценно, что одновременно в воспоминаниях пациента всплывали фантазии совершенно иного рода, содержащие картины того, как бьют и секут мальчиков, особенно бьют по пенису; а каких мальчиков должны были заменить эти анонимные объекты, легко понять из других фантазий, которые рисовали ему картины того, как престолонаследника запирают в карцер и бьют. Престолонаследником был, очевидно, он сам; садизм обратился, следовательно, в фантазии против него самого и превратился в мазохизм. То обстоятельство, что половой орган сам получает наказание, заставляет сделать вывод, что при этом превращении принимало уже участие сознание своей вины, что относилось к онанизму.

В анализе не оставалось сомнения, что эти пассивные стремления появились одновременно или очень скоро после активно-садистских. Это соответствует необычайно ясной, интенсивной и длительной амбивалентности больного, которая здесь впервые проявилась в равномерном развитии противоположных частичных влечений. Такое положение вещей осталось и в будущем для него так же характерным, как и другая черта, выражающаяся в том, что, собственно говоря, ни одна из имевшихся у него когда-либо позиций либидо не уничтожалась вполне более поздней. Она сохранялась наряду со всеми другими и давала ему возможность постоянно колебаться, что было несовместимо с образованием установившегося характера.

Мазохистские стремления мальчика приводят к другому пункту, упоминания о котором я избегал, потому что он был окончательно установлен только анализом следующей фазы развития пациента. Я уже упомянул, что после отказа, полученного от няни, он не стал больше связывать с ней свои либидинозные ожидания и направил свои виды на другое лицо как на сексуальный объект. Этим лицом был тогда отсутствовавший отец. К этому выбору его привело совпадение различных моментов, в том числе и случайных, как воспоминание о змее, рассеченной на куски отцом; но главным образом он возобновил этим выбором свой первый и первоначальный выбор объекта, который, в соответствии с нарциссизмом маленького ребенка, совершен был путем отождествления. Мы уже слышали, что отец был для него образцом, вызывающим удивление, что на вопрос о том, кем он хочет быть, он обыкновенно отвечал: «Господином, как отец». Этот объект идентификации его активных стремлений стал теперь сексуальным объектом пассивного психического течения в анально-садистской фазе. Создается впечатление, будто соблазн, совершенный сестрой, втолкнул его в пассивную роль и дал ему пассивную сексуальную цель. Под постоянным влиянием этого переживания он описал теперь путь от сестры через няню к отцу, от пассивной установки по отношению к женщине к такому же отношению к мужчине и нашел при этом еще связь со своей прежней естественной фазой развития. Отец стал теперь снова объектом; идентификация, в соответствии с высшим развитием, сменилась выбором объекта; превращение активной направленности в пассивную было результатом и признаком случившегося между тем соблазна. Активная установка по отношению к всемогущему отцу в садистской фазе была бы, разумеется, не так легко осуществима. Когда отец вернулся к концу лета или осенью, припадки ярости и сцены буйства ребенка получили новое применение. По отношению к няне они служили активно-садистским целям; по отношению к отцу они преследовали мазохистские намерения. Проявлениями своей испорченности он хотел заставить отца прибегнуть к наказанию и к ударам и получить от него, таким образом, желанное мазохистское сексуальное удовлетворение. Его припадки крика были прямо попытками к

соблазну. Соответственно мотивировке мазохизма, он нашел бы при таком наказании также удовлетворение своего чувства вины. У него сохранилось воспоминание о том, как он во время такой сцены «испорченности» начинает громче кричать, как только к нему подходит отец. Но отец его не бьет, а старается успокоить тем, что играет с ним, как мячом, подушками постельки.

Я не знаю, как часто необъяснимая «испорченность» ребенка дает родителям и воспитателям повод вспомнить о такой типичной связи фактов. Ребенок, который ведет себя так несносно, этим самым делает признание и хочет спровоцировать наказание. В наказании он ищет одновременно и успокоения сознания своей вины, и удовлетворения своих мазохистских сексуальных стремлений.

Дальнейшим разъяснением нашего случая мы обязаны появившемуся с большой точностью воспоминанию о том, что все симптомы страха присоединились к признакам перемены в характере только после одного события. До того не было никакого страха, а непосредственно после события страх проявился в мучительной форме. Время этого превращения можно установить с полной точностью; это случилось перед самым днем рождения его на пятом году жизни. Период детства, которым мы займемся, распадается благодаря этому сроку на две фазы: первая – «испорченности» и перверсности, от момента соблазна в 3*1/4* года до дня рождения, и более длинная последующая, в которой преобладают признаки невроза. Но событие, делающее такое подразделение возможным, было не внешней травмой, а сновидением, после которого он проснулся со страхом.

IV. Сновидение и «первичная сцена»

Этот сон из-за содержащегося в нем сказочного материала я публиковал уже в другом месте и сначала повторю уже сообщенное там:

«Мне снилось, что – ночь, и я лежу в моей кровати (моя кровать стояла так, что ноги приходились к окну; перед окном находился ряд старых ореховых деревьев. Знаю, что была зима, когда я видел этот сон, и ночь). Вдруг окно само распахнулось, и в большом испуге я вижу, что на большом ореховом дереве перед окном сидят несколько белых волков. Их было шесть или семь штук. Волки были совершенно белы и скорей похожи на лисиц или овчарок, так как у них были большие хвосты, как у лисиц, и уши их торча ли, как у собак, когда они насторожатся. С большим страхом, очевидно, боясь быть съеденным волками, я вскрикнул и проснулся. Няня поспешила к моей кроватке, чтобы посмотреть, что со мной случилось. Прошло довольно много времени, пока я убедился, что то был только сон – так естественно и ясно рисовалась мне картина, как открывается окно и как волки сидят на дереве. Наконец я успокоился, почувствовал себя так, будто избежал какой-то опасности, и снова заснул.

Единственным действием во сне было то, как распахнулось окно, потому что волки сидели спокойно без всякого движения на ветках дерева, справа и слева от ствола, и глядели на меня. Как будто все свое внимание они сосредоточили на мне. Думаю, что это был мой первый кошмарный сон. Мне было тогда три, четыре, самое большее – пять лет. До одиннадцати – или двенадцатилетнего возраста я с тех пор всегда боялся увидеть что-нибудь страшное во сне».

При этом он дает еще рисунок, изображающий дерево с волками на нем, подтверждающий его описание. Анализ сновидения вскрывает нижеследующий материал.

Это сновидение он всегда приводил в связь с воспоминанием о том, что в эти годы детства он проявлял всегда совершенно невероятный страх перед картинкой в одной книжке сказок, изображавшей волка. Старшая, значительно превосходившая его по развитию сестра часто дразнила его, показывая ему под каким-нибудь предлогом именно эту картинку, вследствие чего он начинал ужасно кричать. На картинке волк был изображен стоящим на задних лапах, с выставленной вперед одной задней лапой и протянутыми вперед передними лапами и навостренными ушами. Он думает, что картинка была иллюстрацией к сказке о Красной Шапочке.

Почему волки белы? Это напоминает ему овец, большие стада которых разводились недалеко от имения. Отец брал его иногда с собой при посещении этих стад, и он бывал в таких случаях всегда горд и счастлив. Позже – по наведенным справкам весьма возможно, что это было незадолго до сновидения – среди овец появился мор. Отец выписал одного ученика Пастера, который сделал животным прививку, но после прививки они погибали в еще большем количестве, чем до того.

Каким образом волки попали на дерево? По этому поводу ему припоминается история, которую он слышал от дедушки. Он не может вспомнить, слышал ли он это до или после сновидения, но по содержанию рассказа это безусловно должно было предшествовать сновидению. История эта гласит: «Один портной сидел за работой в своей комнате, как вдруг распахнулось окно и на него прыгнул волк. Портной бьет его аршином – нет, поправляется он – портной схватывает его за хвост и отрывает хвост, так что испуганный волк убегает. Несколько времени спустя портной шел лесом и вдруг видит стаю волков, от которых спасается на дереве. Сначала волки растерялись, но находившийся среди них бесхвостый, желавший отомстить портному, предлагает, чтобы один волк влез на другого с тем, чтобы самый верхний добрался до портного. Сам он – матерый старый волк – составит основание этой пирамиды. Волки так и делают, но портной узнал наказанного посетителя и закричал вдруг, как и тогда: ловите серого за хвост. При этом воспоминании бесхвостый волк испугался, убежал, а все прочие свалились вниз».

В этом рассказе имеется дерево, на котором в сновидении сидят волки. Но он имеет также вполне определенную связь с кастрационным комплексом. У старого волка портной оторвал хвост. Лисьи хвосты у волков в сновидении являются, вероятно, компенсацией за эту «бесхвостость».

Почему имеется пять или шесть волков? На этот вопрос не находилось ответа, пока я не выразил сомнения в том, может ли его страшная картинка относиться непременно к сказке о Красной Шапочке. Эта сказка дает повод только к двум иллюстрациям: ко встрече Красной Шапочки с волком в лесу и к сцене, когда волк лежит в чепчике бабушки в ее кровати. За воспоминанием о картинке должна, следовательно, скрываться какая-нибудь другая сказка. Тогда он скоро вспомнил, что такой сказкой может быть только сказка о волке и семерых козлятах. Здесь имеется также число семь, потому что волк пожирает только шестерых козлят, а седьмой прячется в ящике от часов. Также и белое встречается в этой сказке, потому что волк велит пекарю выбелить себе ногу, после того как козлята при первом посещении узнали его по серой лапе. Впрочем, в обеих сказках много общего. В обеих имеет место пожирание, взрезание живота, извлечение съеденных, замена их тяжелыми камнями, и, наконец, в обеих злой волк

погибает. В сказке о козлятах встречается также и дерево. После обеда волк ложится под деревом и храпит.

Этим сном я должен буду заняться еще в другом месте, благодаря особому обстоятельству, подробнее истолкую и оценю его. Это первый кошмарный сон, сохранившийся в воспоминаниях с детства, содержание которого, в связи с другими снами, последовавшими вскоре после этого, и с известными событиями детства сновидца, будят совершенно исключительный интерес. Здесь мы ограничиваемся указанием на отношение сновидения к двум сказкам, имеющим много общего между собой, к «Красной Шапочке» и к «Волку и семерым козлятам». Впечатление от этих сказок выразилось у ребенка в форме настоящей фобии животных, отличающейся от других подобных случаев только тем, что страшное животное было не легко доступным для восприятия объектом (вроде лошади и собаки), а знакомо лишь по рассказам и из книжки с картинками.

В другой раз я подробно изложу, какое объяснение имеют эти фобии животных и какое значение следует им приписывать. Пока замечу только, что это объяснение очень подходит к главному характеру, который носил невроз сновидца в более позднем возрасте. Страх перед отцом был сильнейшим мотивом его заболевания, и амбивалентная установка ко всякому заместителю отца господствовала во всей его жизни, как и в его поведении во время лечения.

Если волк был у моего пациента только первым заместителем отца, то возникает вопрос, имеют ли сказки о волке, который пожирает козлят, и о Красной Шапочке своим тайным содержанием что-либо другое, чем инфантильный страх «перед отцом»? У отца моего пациента была, кроме того, особенность «ласковой брани», которую проявляют многие в обращении со своими детьми, и угроза в шутку «я тебя съем» в первые годы, вероятно, не раз была произнесена, когда позже строгий отец, играя, ласкал своего маленького сына. Одна моя пациентка рассказала мне, что оба ее ребенка никогда не могли полюбить дедушку, потому что, играя с ними, он их часто пугал тем, что вскроет им живот.

Оставим в стороне все, что в этой статье предвосхищает использование сновидения, и вернемся к его ближайшему толкованию. Хочу заметить, что это толкование составило задачу, разрешение которой тянулось в течение нескольких лет. Пациент сообщил сновидение очень рано и скоро присоединился к моему убеждению, что за этим скрывается причина его инфантильного невроза. В период лечения мы часто возвращались к сновидению, но только в последние месяцы удалось вполне понять его, и только благодаря самостоятельной работе пациента. Он всегда подчеркивал, что два момента сновидения произвели на него самое сильное впечатление, во-первых – полное спокойствие и неподвижность волков и, во-вторых, напряженное внимание, с которым они на него глядели. Так же казалось ему замечательным то длительное чувство реальности, которым закончился сон.

С этого последнего мы и начнем. Из нашего опыта с толкованием сновидений нам известно, что этому чувству реальности нужно придавать определенное значение. Оно убеждает нас в том, что нечто в латентном содержании сновидения имеет право считаться воспоминанием действительности, т. е. что сновидение имеет отношение к событиям действительности, которые на самом деле имели место, а не только разыгрались в фантазии. Разумеется, речь может идти только о действительности чего-то, что неизвестно; например, убеждение, что дед действительно рассказал историю про портного и волка или что ему, сновидцу, действительно читали вслух сказки про Красную Шапочку и про семерых козлят, никогда не могло бы быть заменено

чувством действительности более длительным, чем сновидение. Сновидение как будто намекало на какое-то событие, реальность которого подчеркивается особенно в противоположность нереальности сказок.

Если за содержанием сновидения предполагать такую неизвестную, т. е. ко времени, когда приснился сон, уже забытую, сцену, то эта сцена должна была иметь место в очень раннем детстве. Сновидец так и говорит: «Когда я видел этот сон, мне было три, четыре, самое большее пять лет». Мы может прибавить: «И сон этот мне что-то напомнил, что должно быть отнесено к еще более раннему периоду».

К содержанию этой сцены должно привести то, что сновидец подчеркнул из явного содержания сновидения, – моменты внимательного разглядывания и неподвижности, Мы, разумеется, ждем, что этот материал воспроизводит в каком-нибудь искажении неизвестный материал, может быть, даже искаженный в смысле полной противоположности.

Из сырого материала, который дал первый анализ с пациентом, можно было также сделать несколько выводов, которые удалось вплести в искомую связь. За упоминанием об овцеводстве можно было искать доказательства его сексуальных исследований, интересы которых он мог удовлетворять во время своего посещения стад совместно с отцом, но при этом также должны были иметь место и намеки на страх смерти, потому что овцы погибли, по большей части, от мора. То, что в сновидении было ярче всего – волки на дереве, – прямо вело к рассказу деда, в котором не могло быть ничего другого, захватывающего и возбуждающего сновидение, как только связь с кастрационным комплексом.

Из первого неполного анализа сновидения мы далее заключили, что волк является заместителем отца, так что в этом первом кошмарном сне проявился страх перед отцом – страх, который с того времени преобладал во всей его жизни. Такой вывод сам по себе, правда, не был еще обязателен. Но если в результате предварительного анализа мы сопоставим то, что удается вывести из данного сновидцем материала, то у нас имеются приблизительно следующие отрывки для реконструкции.

Действительное событие – относится к очень раннему возрасту – разглядывание – неподвижность – сексуальные проблемы – кастрация – отец – что-то страшное.

Однажды пациент стал продолжать толкование сновидения. Место сновидения, говорил он, в котором значится «вдруг окно само распахнулось», не совсем выяснено в отношении к окну, у которого сидит портной и через которое в комнату впрыгивает волк. Оно должно означать: вдруг открываются глаза. Следовательно, я сплю и вдруг просыпаюсь, при этом что-то вижу: дерево с волками на нем. Против этого ничего нельзя было возразить, но это можно было использовать дальше. Внимательное разглядывание, приписываемое в сновидении волкам, оказывается, нужно перенести на него самого. Тут в решительном пункте имело место превращение в противоположное, которое, впрочем, проявляется посредством другого превращения в явном содержании сновидения. Превращением было также и то, что волки сидели на дереве, между тем как, по рассказу деда, они находились внизу и не могли влезть на дерево.

Если в таком случае и другой момент, подчеркнутый сновидцем, искажен превращением в противоположное, тогда вместо неподвижности (волки сидят совершенно неподвижно, глядят на него и не трогаются с места) должно наблюдаться большое движение. Он, следовательно, внезапно проснулся и увидел перед собой сцену, заключавшуюся в большом движении, на

которую он смотрел с напряженным вниманием. В одном случае искажение состоит в замене субъекта объектом, активности пассивностью, быть рассматриваемым вместо рассматривать; в другом случае – в превращении в противоположное: спокойствие вместо подвижности.

Дальнейший шаг вперед в понимании сновидения составила появившаяся внезапно мысль: дерево это – елка. Теперь он уже знал, что сновидение появилось перед самым рождеством в ожидании сочельника. Так как день рождества был также и днем его рождения, то явилась возможность с точностью установить время сновидения и происшедшего в связи с ним изменения его душевного состояния. Это было накануне дня его рождения на четвертом году жизни. Он заснул в напряженном ожидании того дня, когда должен был получить двойные подарки. Нам известно, что ребенок при таких условиях легко предвосхищает исполнение своих желаний в сновидении. В сновидении, следовательно, было уже рождество, содержание сновидения показывало ему предназначенные для него подарки, которые висели на дереве. Но вместо подарков оказались волки, и сон закончился тем, что им овладел страх быть съеденным волком (вероятно, отцом), и тогда он прибег к помощи няни. Знание его сексуального развития до сновидения дает нам возможность восполнить пробел в сновидении и объяснить превращение удовлетворения в страх. Среди образующих сон желаний сильней всего, вероятно, было желание получить сексуальное удовлетворение, которого он тогда добивался от отца. Силе этого желания удалось освежить давно забытые следы воспоминаний о сцене, которая могла ему показать, какой вид имело сексуальное удовлетворение, доставляемое отцом, и в результате появился испуг, отчаяние перед исполнением этого желания, вытеснение этого душевного движения, выразившегося в этом желании, и он обратился в бегство от отца к не представляющей опасности няне.

Значение этого срока – рождества – сохранилось в указанном воспоминании о первом припадке ярости, явившейся следствием неудовлетворенности рождественскими подарками. Воспоминание соединило правильное с неправильным; оно не могло быть верным без всяких изменений, потому что, согласно часто повторяемым показаниям родителей, его «испорченность» обратила на себя внимание уже после их возвращения осенью, а не на рождество; но самое существенное во взаимоотношении между недостаточным любовным удовлетворением, яростью и рождеством сохранилось в воспоминании.

Но какой образ мог вызвать действующую в ночном время сексуальную тоску и оказаться в состоянии так интенсивно отпугнуть от желанного удовлетворения? Судя по материалу анализа, этот образ должен был бы выполнить одно условие: он должен был подходить для того, чтобы обосновать убеждение в существовании кастрации. Страх кастрации становился в таком случае двигателем для превращения аффекта.

Тут я подхожу к месту, где мне приходится перестать придерживаться хода анализа. Боюсь, что это будет в то же время и тем местом, где читатель перестанет мне верить.

В ту ночь из хаоса бессознательных следов воспринятых впечатлений оживилась картина коитуса между родителями при не совсем обыкновенных и для наблюдения особенно благоприятных обстоятельствах. Постепенно удалось для всех вопросов, которые могли быть связаны с этой сценой, получить удовлетворительные ответы, благодаря тому, что этот первый сон в течение лечения возвращался с бесконечными изменениями и в повторных изданиях, которым анализ давал желательное объяснение. Так выяснился сперва возраст ребенка во время

этого наблюдения, а именно – около 1*1/2* года. Он страдал тогда малярией, припадок которой наступал ежедневно в один и тот же час. С десятилетнего возраста он был подвержен временами депрессивным настроениям, начинавшимся после обеда и достигавшим наибольшей высоты к пяти часам. Этот симптом сохранился еще и во время аналитического лечения. Возвращающаяся депрессия заменяла тогдашний припадок лихорадки и слабости; пятый час был временем или наибольшего повышения температуры, или наблюденного коитуса, если оба срока вообще не совпадали. Вероятно, именно вследствие этой болезни он находился в комнате родителей. Эта подтвержденная непосредственной традицией болезнь заставляет нас перенести это событие на лето и вместе с тем предположить, что ребенку, родившемуся на рождество, могло быть n + 1*1/2* года. Он спал, следовательно, в комнате своих родителей в своей кроватке и проснулся, вследствие повышающейся температуры, после обеда, может быть около пяти часов, отмеченных позже депрессией. Это согласуется с предположением о том, что это происходило в жаркий летний день, если допустить, что родители полураздетые. прилегли отдохнуть после обеда. Когда он проснулся, он стал свидетелем трижды повторенного коитуса a tergo, мог при этом видеть гениталии матери и пенис отца и понял значение происходящего Наконец, он помешал общению родителей и позже будет сказано, каким именно образом.

В сущности, ничего необыкновенного нет в этом, и не производит впечатления дикой фантазии тот факт, что молодая, несколько лет тому назад поженившаяся супружеская пара после послеобеденного сна в жаркую летнюю пору предается нежному общению и не обращает при этом внимания на присутствие полуторагодовалого спящего в своей кровати ребенка. Я полагаю, что это скорее нечто банальное, повседневное, и предполагаемое положение при коитусе не может повлиять на наше мнение. В особенности, если из имеющегося материала не следует, что коитус всякий раз производился в положении a tergo. Одного раза было бы достаточно, чтобы дать зрителю возможность сделать наблюдения, которые было бы очень трудно сделать или даже совсем невозможно при другом положении любящих. Содержание самой сцены не может, поэтому, быть доказательством того, что она не заслуживает доверия. Сомнение в вероятности направится на три других пункта: на то, что ребенок в раннем возрасте, 1*1/2* года, окажется в состоянии воспринять такой сложный процесс и с такой точностью сохранить его в бессознательном, во-вторых – против того, что последующая, дошедшая до понимания, обработка воспринятого таким образом впечатления возможна в 4 года и, наконец, что может удасться каким бы то ни было способом довести до сознания подробности такой сцены, пережитой и понятой при таких обстоятельствах в общей связи и убедительным образом.

Позже я более тщательно исследую эти и другие сомнения; уверяю читателя, что я не менее, чем он, критически отношусь к допущению такого наблюдения у ребенка и прошу его вместе со мной решиться пока поверить в реальность этой сцены. Сперва продолжим изучение отношения этой «первичной сцены» («Urszene») к сновидению, к симптомам и к истории жизни пациента. Мы проследим в отдельности, какое действие произвели содержание сцены, по существу, и одно из ее зрительных впечатлений, в частности.

Под последним я понимаю положение родителей, которое он видел, вертикальное – мужчины и звероподобное, согнутое – женщины. Мы уже слышали, что в то время, когда он страдал страхами, сестра пугала его картинкой из сказок, на которой волк был изображен в вертикальном положении, с выдвинутой вперед задней лапой, протянутыми вперед передними и

навостренными ушами. Во время лечения он не пожалел трудов на поиски в антикварных магазинах, пока не отыскал книжку сказок из своего детства и узнал пугавшую его картинку в иллюстрации к сказке о «Волке и семерых козлятах». Он полагал, что положение волка могло ему напомнить положение отца во время сконструированной «первичной сцены». Эта картинка, во всяком случае, стала исходным пунктом дальнейшего развития страха. Когда он на седьмом или восьмом году жизни однажды узнал, что завтра к нему придет новый учитель, он в ближайшую ночь видел этого учителя во сне в виде льва, который с громким рыканьем приближался к его кровати в положении волка на той картинке, и опять проснулся со страхом. Фобия волка была тогда уже преодолена, у него была поэтому свободная возможность выбрать себе нового зверя, как предмет страха, и в этом позднем сновидении он узнал в учителе заместителя отца. Каждый учитель его в более поздние годы его детства играл ту же роль отца и приобретал влияние отца как в хорошую, так и в дурную сторону.

Судьба дала ему особенный повод освежить свою фобию волка в гимназическое время и лежавшее в основе ее отношение сделать исходной точкой тяжелых задержек. Учитель, преподававший в его классе латынь, назывался Вольф (волк). С самого начала он стал его бояться; однажды учитель его жестоко выбранил из-за глупой ошибки в латинском переводе, и с тех пор он не мог уже освободиться от чувства парализующего страха перед этим учителем, страха, который скоро перенесся и на других учителей. Но и случай, при котором он ошибся в переводе, не был свободен от внутренних отношений. Он должен был перевести латинское слово «filius» и перевел его, употребив французское слово «fils» вместо соответствующего слова на родном своем языке. Волк все еще оставался отцом.

Первый «преходящий симптом», который появился v пациента во время лечения, относился еще к фобии волка и к сказке о семерых козлятах. В комнате, где происходили первые сеансы, находились большие стенные часы против пациента, лежавшего, отвернувшись от меня, на диване. Я обратил внимание на то, что он время от времени поворачивал ко мне лицо, смотрел на меня очень дружелюбно, как будто старался умилостивить меня, и затем переводил взор на часы. Я полагал тогда, что этим он выражает свое сильное желание поскорей закончить сеанс. Долгое время спустя пациент напомнил мне эту игру выражения его лица и жестов и дал мне ее объяснение, напомнив, что самый младший из семерых козлят спрятался в ящике стенных часов, между тем как шесть остальных его братьев были съедены волком. Он хотел тогда сказать: будь добр со мной. Должен ли я тебя бояться? Сожрешь ли ты меня? Должен ли я спрятаться от тебя в ящике от часов, как самый младший из козлят?

Волк, которого он боялся, был, несомненно, его отец, но страх перед волком был связан с условием вертикального положения. На основании своих воспоминаний он с полной определенностью утверждает, что изображения волка, идущего на всех четырех лапах или, как в сказке «Красная Шапочка», лежащего в кровати, не испугали бы его. Не меньшее значение имело положение, в котором он, согласно нашей конструкции «первичной сцены», видел женщину; но это значение осталось ограниченным в сексуальной области. Самым замечательным явлением в его любовной жизни по наступлении зрелости были припадки навязчивой чувственной влюбленности, которые наступали и вновь исчезали в загадочной последовательности, развивали в нем колоссальную энергию даже в периоды заторможенности и овладеть которыми было совершенно не в его власти. Полную оценку этой навязчивой любви я должен отложить до

другого места вследствие особенно ценной связи ее с другими моментами, но здесь могу указать, что она была связана с определенным, скрытым для него условием, узнать о котором удалось только во время лечения. Женщина должна была занять положение, какое в «первичной сцене» мы приписываем матери. Крупные, бросающиеся в глаза задние части он с юных лет воспринимал, как самую привлекательную прелесть женщины; коитус не a tergo почти не доставлял ему наслаждения. Критическое соображение вполне оправдывает возможное здесь возражение, что такое сексуальное предпочтение, оказываемое задним частям тела, составляет общий характер лиц, склонных к неврозу навязчивости, и не оправдывает объяснение, приписываемое особенному впечатлению, имевшему место в детские годы. Оно входит в состав анально-эротического предрасположения и относится к тем архаическим чертам, которыми отличается эта конструкция. Коитус a tergo – moro ferrarum можно ведь филогенетически рассматривать, как более старую форму. Мы вернемся к этому пункту в позднейшей дискуссии, когда приведем материал, касающийся бессознательных условий его любовного чувства.

Будем теперь продолжать рассмотрение отношений между сновидением и «первичной сценой». Согласно теперешним нашим ожиданиям, сон должен был представить ребенку, радующемуся исполнению своих желаний к рождеству, картину сексуального удовлетворения отцом в том виде, в каком он это наблюдал в той «первичной сцене», что стало образцом собственного удовлетворения, которое он желал получить от отца. Но вместо этой картины появляется материал истории, незадолго до того рассказанный дедом: дерево, волки, «бесхвостость» в форме сверхкомпенсации в виде пушистых хвостов означенных волков. Здесь у нас не хватает связи, ассоциативного моста, который ведет от содержания «первичной сцены» к истории о волке. Эта связь создается опять-таки только этим положением. Бесхвостый волк предлагает другим в рассказе деда взобраться на него. Эта деталь вызвала в воспоминаниях картину «первичной сцены». Таким путем материал «первичной сцены» мог быть заменен материалом из истории о волке и при этом одновременно двое родителей могли быть заменены по желанию несколькими волками. Ближайшее превращение содержания сновидения состояло в том, что история о волке приспособилась к содержанию сказки о семерых козлятах, позаимствовав у нее число семь. Превращение материала: «первичная сцена» – история о волке – сказка о семерых козлятах – является отражением развития хода мыслей во время образования сновидения; тоска по сексуальному удовлетворению отцом – понимание связанного с ним условия кастрации – страх перед отцом. Полагаю, что кошмарный сон четырехлетнего ребенка только теперь выяснен вполне.

После всего вышесказанного я могу лишь вкратце остановиться на патологическом влиянии «первичной сцены» и на тех изменениях, которые пробуждение этой сцены вызвало в его сексуальном развитии. Проследим только то действие, которое нашло себе выражение в сновидении. Позже выяснится, что не одно только сексуальное течение произошло от этой «первичной сцены», а целый ряд течений, прямо расщепление сексуальной жизни. Далее мы должны будем принять во внимание, что оживление этой сцены (я нарочно избегаю слова «воспоминание») имеет то же действие, как если бы это было настоящее переживание. Сцена действует спустя некоторое время, и за это время – в промежутке между полутора и четырьмя годами – она не потеряла своей свежести. Может быть, мы в дальнейшем найдем признаки того, что определенное действие она оказала уже в то время, когда была воспринята, т. е. начиная с

полутора лет.

Когда пациент погружался в ситуацию «первичной сцены», то он высказывал следующее самонаблюдении. Раньше он полагал, что наблюдаемое происшествие представляет собой акт насилия, но этому не соответствовало выражение удовольствия, которое он видел на лице матери; он должен был признать, что дело идет тут об удовлетворении. Существенно новым, что дало ему наблюдение над общением родителей, было убеждение в действительном существовании кастрации, возможность которой уже раньше занимала его мысли (вид обеих девочек, пускавших мочу, угроза няни, объяснение гувернантки, данные ею конфеты, воспоминание о том, что отец палкой разрубил на куски змею). Ибо теперь он видел собственными глазами рану, о которой говорила няня, и понял, что существование ее является необходимым условием для общения с отцом. Он не мог уже смешивать ее с poро, как при наблюдении над маленькими девочками.

Сновидение закончилось страхом, от которого он успокоился не раньше, чем к нему подошла няня. Он, следовательно, бежал от отца к ней. Страх был отказом от желания сексуального удовлетворения отцом, стремление к которому ему было внушено сном. Формулировка страха: быть съеденным отцом, была только, как мы услышим, регрессивным превращением желания иметь общение с отцом, т. е. быть им так удовлетворенным, как мать. Его последняя сексуальная цель, пассивная установка к отцу, подверглась вытеснению, ее место занял страх перед отцом в форме фобии волка.

А каковы двигающие силы этого вытеснения? Судя по всему положению вещей, такой силой могло быть только нарцистическое генитальное либидо, которое из опасения за свой мужской орган воспротивилось удовлетворению; необходимым условием казался отказ от этого органа. В угрожаемом нарциссизме он почерпал то мужество, с которым он противился пассивной установке к отцу.

Теперь мы обращаем внимание на то, что в этом пункте изложения мы должны изменить нашу терминологию. Во время сновидения он достиг новой фазы в своей сексуальной организации. До сих пор сексуальные противоположности выражались для него в активном и пассивном. Со времени соблазна его сексуальная цель была пассивной, выражалась в желании, чтобы дотрагивались до его гениталий; затем, благодаря регрессии на прежнюю ступень садистски-анальной организации, превратилась в мазохистскую, в желание быть избитым и наказанным. Ему было безразлично, достигнет ли он этой цели у мужчины или у женщины. Не принимая во внимание различие полов, он перешел от няни к отцу, требовал от няни, чтобы она касалась его органа, и желал спровоцировать отца на наказание. При этом гениталии во внимание не принимались; в фантазии о том, чтобы его били но пенису, нашла себе выражение связь, скрытая благодаря регрессии. Активирование «первичной сцены» в сновидении снова привело его обратно к генитальной организации. Он открыл вагину и биологическое значение мужского и женского. Он понял теперь, что активное равнозначно мужскому и пассивное – женскому. Его пассивная сексуальная цель должна бы теперь превратиться в женскую, получить выражение: чтобы отец совершил над ним половой акт, вместо: чтобы отец бил по гениталиям или по poро. Эта женская цель подпала теперь вытеснению, и ее пришлось заменить страхом перед волком.

Здесь мы должны прервать обсуждение его сексуального развития до тех пор, пока на эту раннюю стадию его истории не прольется новый свет из более поздних стадий. Для оценки

фобии волка мы еще прибавим, что волками стали и мать, и отец. Мать стала кастрированным волком, который позволил другим взобраться на себя, отец превратился в волка, который взбирался. Но мы слышали, как он уверял, что его страх относился только к стоящему волку, т. е. к отцу. Далее, мы должны обратить внимание на то, что страх, которым закончился сон, имел прообраз в рассказе деда. В этом рассказе кастрированного волка, который позволил другим взобраться на себя, охватывает страх, как только ему напоминают о его «бесхвостости». Похоже на то, как будто в процессе сновидения он отождествил себя с кастрированной матерью и воспротивился этому во вполне правильном убеждении: если ты хочешь получить удовлетворение от отца, то должен, как мать, согласиться на кастрацию; но этого я не хочу. Итак, явный протест мужественности! Однако уясним себе, что сексуальное развитие случая, подлежащее сейчас нашему изучению, страдает для нашего исследования тем недостатком, что протекает с нарушениями. Сначала на него производит решительное влияние соблазн, а затем его нарушает сцена наблюдения коитуса, которая впоследствии действует, как второй соблазн.

V. Несколько принципиальных соображений

Белый медведь и кит, как говорят, не могут вести друг с другом войны, так как каждый ограничен пределами своей стихии, и не могут попасть друг к другу. Так же невозможно и мне вести дискуссии с работниками в области психологии или невротики, не признающими исходных положений психоанализа и считающими его результаты искусственными. Наряду с этим в последние годы развилась оппозиция и других авторов, которые, по их собственному мнению по крайней мере, стоят на почве анализа, не оспаривают его техники и результатов и оставляют за собой только право из того же материала делать иные выводы и по-другому понимать его.

Но теоретические возражения по большей части остаются бесплодными. Как только начинаешь отдаляться от материала, из которого приходится исходить, сейчас же подвергаешься опасности опьянеть от собственных взглядов и даже отстаивать мнения, которым противоречит всякое наблюдение. Поэтому мне кажется несомненно целесообразней бороться с противоположными взглядами тем, что подвергаешь их испытанию на отдельных случаях и проблемах.

Выше я указал, что многие, наверное, будут считать невероятным, «чтобы ребенок в раннем возрасте полутора лет оказался в состоянии получать восприятие такого сложного процесса и с такой точностью сохранить их в своем бессознательном, во-вторых, чтобы позже – в возрасте четырех лет – возможна была дошедшая до сознательного понимания обработка этого материала, и, наконец, чтобы каким-нибудь методом могло удасться довести убедительным и связным образом до сознания и подробности такой сцены, пережитой и понятой при таких обстоятельствах».

Последний вопрос – чисто фактический. Кто берет на себя труд вести анализ в таких глубинах при помощи описанной техники, тот убедится, что это весьма возможно; кто этого не делает и обрывает анализ в каком-нибудь более высоком слое, тот лишается возможности судить об этом. Но этим не разрешается понимание того, что добыто путем глубокого анализа.

Оба других соображения опираются на пренебрежительную оценку ранних детских впечатлений, для которые не допускается такого длительного действия. Причину неврозов

желают искать исключительно в серьезных конфликтах более поздней поры жизни и предполагают, что значение детства раздувается в анализе благодаря склонности невротиков выражать свои интересы настоящего времени воспоминаниями и символами далекого прошлого. При такой оценке инфантильного момента отпадает многое, что принадлежит к самым интимным особенностям анализа, разумеется, также многое, что вызывает сопротивление ему и подрывает доверие стоящих в стороне от него. Итак, мы возбуждаем дискуссию по поводу взгляда, что такие сцены раннего детства, какие открывает исчерпывающий анализ невроза, например нашего случая, не представляют собой репродукции настоящих событий, которым можно приписать влияние на дальнейший склад жизни и на образование симптомов; это только образование фантазий, возникающих в период созревания и предназначенных в известной степени для символической замены реальных желаний и интересов и обязанных своим возникновением регрессивной тенденции, отходу от задач настоящей действительности. Если это так, то нет, разумеется, надобности в том, чтобы делать такие странные допущения по поводу душевной жизни и интеллектуальных способностей детей в самом раннем возрасте. Этому взгляду соответствует, помимо общего нам всем желания рационализации и упрощения трудных задач, также и нечто фактическое. Является также возможность устранить наперед сомнения, возникающие именно у практического аналитика. Приходится сознаться, что если верен вышеизложенный взгляд на инфантильные сцены, то в проведении анализа сначала ничего не меняется. Если у невротика имеется дурная особенность отнимать свой интерес от настоящего и направлять его на такие регрессивные замены его фантазии, то ничего другого нельзя сделать, как последовать за ними на этом пути и привести в его сознание эти бессознательные продукции, потому что, независимо от их реальной незначимости, они чрезвычайно ценны для нас, как временные носители и обладатели интереса, который мы хотим освободить и направить на задачи настоящей действительности. Анализ необходимо вести точно так же, как если в наивном доверии принимать за истину такие фантазии. Различие возникает только к концу анализа после вскрытия этих фантазий. Пришлось бы сказать больному: «Ну хорошо, ваш невроз протекал так, как будто бы в детском возрасте у вас такие впечатления были и затем продолжали свое действие. Но вы ведь видите, что это невозможно, это были продукты вашей фантазии, которые должны были отвлечь вас от предстоявших вам реальных задач. Теперь позвольте нам исследовать, каковы были эти задачи и какие соединительные пути существовали между этими задачами и вашими фантазиями». После того, как будет покончено с этими детскими фантазиями, приступим ко второй части лечения, имеющей в виду реальную жизнь.

Сокращение этого пути, т. е. изменение применяемого до сих пор психоаналитического лечения, было бы технически недопустимо. Если не довести до сознания больного эти фантазии в их полном объеме, то нельзя дать ему возможности располагать связанным с ними интересом. Если отвлечь его от них, когда начинаешь догадываться об их существовании и общем объеме, то только поддерживаешь таким образом работу вытеснения, благодаря которой они оказались недосягаемыми для всех усилий больного освободиться от их влияний. Если преждевременно обесценить их в его глазах, открыв ему, что речь идет только о фантазиях, не имеющих никакого реального значения, то никогда не встретишь с его стороны содействия для приведения их в его сознание. Аналитическая техника не должна поэтому при правильном ведении подвергнуться никакому изменению, независимо от оценки этих инфантильных сцен.

Я упомянул, что, понимая эти сцены, как агрессивные фантазии, можно сослаться для подкрепления на некоторые фактические моменты. Прежде всего следующие: эти инфантильные сцены репродуцируются в лечении – поскольку хватает до настоящего времени моего опыта – не как воспоминание, они – результаты конструкции. Понятно, многим благодаря одному этому признанию спор покажется уже разрешенным.

Я не хотел бы быть неправильно понятым. Всякий аналитик знает и много раз убеждался, что при удачном лечении пациент сообщает много воспоминаний из детства, в появлении которых – быть может, первичном появлении – врач не чувствует себя совершенно виновным, так как никакими конструктивными попытками он не навязывал больному воспоминаний подобного содержания. Эти бессознательные раньше воспоминания вовсе не должны всегда быть верными; они могут быть и верными, но часто они представляют собой искаженную правду, перепутаны с созданными фантазией элементами, совершенно так же, как сохранившиеся в памяти так называемые покрывающие воспоминания. Я хочу только сказать: сцены вроде тех, что у моего пациента, из такого раннего периода и такого содержания, которым приходится придавать такое исключительное значение в истории этого случая, воспроизводятся обыкновенно не как воспоминания, но их приходится с трудом и постепенно угадывать – конструировать – из целого ряда намеков. Вполне достаточно для доказательства, если я соглашусь, что такие сцены, в случаях невроза навязчивости, не доходят до сознания, как воспоминания, или если я ограничусь ссылкой на один только этот случай, который мы изучаем.

Я не придерживаюсь мнения, будто эти сцены должны быть обязательно фантазиями, потому что они не возникают вновь в виде воспоминаний. Мне кажется, что они вполне равноценны воспоминанию, если они – как в нашем случае – заменены сновидениями, анализ которых всегда приводит к той же сцене и которые в неутомимой переработке воспроизводят каждую отдельную часть своего содержания. Видеть сны – значит тоже вспоминать, хотя и в условиях ночного времени и образования сновидений. Этим постоянным повторением в сновидениях я объясняю себе, что постепенно у самого пациента создается глубокое убеждение в реальности «первичной сцены», убеждение, ни в чем не уступающее убеждению, основанному на воспоминании.

Противникам незачем, разумеется, отказываться от борьбы против этих доказательств, как от безнадежной. Как известно, снами можно управлять. А убеждение анализируемого может быть результатом внушения, для которого все еще ищут роли в игре психических сил при аналитическом лечении. Психотерапевт старого склада внушил бы своему пациенту, что он здоров, преодолел свои задержки и т. п. А психоаналитик внушает ему, что он ребенком имел то или другое переживание, которое он должен теперь вспомнить, чтобы выздороветь. Вот и все различие между ними.

Уясним себе, что последняя попытка противников дать объяснение этим сценам сводится к гораздо большему уничтожению инфантильных сцен, чем это указывалось раньше. Они представляют собой не действительность, а фантазии. Теперь становится ясно: фантазии принадлежат не больному, а самому аналитику, который навязывает их анализируемому под влиянием каких-то личных комплексов. Правда, аналитик, слушающий этот упрек, припомнит для своего успокоения, как постепенно сложилась конструкция этой будто бы внушенной им фантазии; как образование ее во многих пунктах происходило совершенно независимо от

врачебного воздействия; как, начиная с одной определенной фазы лечения, все, казалось, приводит к ней и как в синтезе от нее исходят самые различные и замечательные успехи; как большие и самые маленькие проблемы и особенности истории болезни находят свое разрешение в этом одном предположении; он укажет еще на то, что не может допустить у себя такой проницательности, чтобы измыслить событие, которое отвечало бы всем этим требованиям. Но и эта защита не повлияет на противную сторону, которая не пережила сама анализа. Утонченный самообман – скажет одна сторона, тупость суждения – другая; и такой спор решить невозможно.

Обратимся к другому моменту, подкрепляющему взгляд противников на сконструированную инфантильную сцену. Он заключается в следующем: все процессы, на которые ссылаются для объяснения спорного образования, как фантазии, действительно существуют, и необходимо признать их большое значение. Потеря интереса к задачам реальной жизни, существование фантазий, как замены несовершенных действий, регрессивная тенденция, проявляющаяся в этих образованиях, – регрессивная больше, чем в одном смысле, поскольку одновременно наступает отход от жизни и возврат к прошлому, – все это вполне правильно, и анализом можно всегда это подтвердить. Можно было бы подумать, что этого вполне достаточно, чтобы объяснить ранние детские воспоминания, о которых идет речь, и это объяснение, согласно экономическим принципам науки, имело бы преимущество перед другим, которое не может обойтись без новых и странных предположений.

Позволю себе в этом месте обратить внимание на то, что возражения в современной психоаналитической литературе обыкновенно изготовляются согласно принципу pars pro toto (часть вместо целого). Из очень сложного ансамбля извлекают часть действующих факторов, объявляют их истиной и во имя этой истины возражают против другой части или против всего. Если присмотреться к тому, какая именно группа пользуется этим преимуществом, то оказывается, что именно та, которая содержит уже известное из других источников или ближе всего к нему подходит. Таковы у Юнга актуальность и регрессия, у Адлера эгоистические мотивы. Оставленным же, отброшенным, как заблуждение, оказывается именно то, что ново в психоанализе и что составляет его особенность. Таким путем удается легче всего отбросить революционные удары неудобного психоанализа.

Нелишне подчеркнуть, что ни один из моментов, приводимых противной точкой зрения для объяснения сцен детства, Юнгу незачем создавать, как новое учение. Актуальный конфликт, отход от реальности, заменяющее удовлетворение в фантазии, регрессия к материалу из прошлого, – все это и в том же сопоставлении, может быть только с незначительными изменениями в терминологии, составляло всегда составную часть моего же учения. Это было не все учение, а только часть, являющаяся причиной и действующая в регрессивном направлении от реальности к образованию невроза. Кроме этого, я оставил еще свободное место для другого прогрессирующего влияния, действующего от детских впечатлений, указывающего путь либидо, которое отступает от жизни, и объясняющего непонятную иначе регрессию к детству. Таким образом, по моему мнению, оба момента действуют при образовании симптомов, но прежнее совместное действие кажется мне также имеющим большое значение. Я утверждаю, что влияние детства чувствуется уже в первоначальной ситуации образования неврозов, так как оно решающим образом содействует определению момента: оказывается ли индивид несостоятельным и в каком именно месте, при одолении реальных проблем жизни.

Спор, следовательно, идет о значении инфантильного момента. Задача состоит в том, чтобы найти такой случай, который может доказать это значение вне всякого сомнения. Но таким именно и является разбираемый нами здесь так подробно случай, который отличается тем, что неврозу в более поздний период жизни предшествовал невроз в раннем периоде детства. Поэтому-то я и остановился на этом случае с целью опубликовать его. Если бы кто-нибудь захотел считать его несоответствующим намеченной цели, потому что фобия животных кажется ему недостаточно важной, чтобы считать ее самостоятельным неврозом, то я хочу ему указать на то, что без всякого интервала к этой фобии присоединился навязчивый церемониал, навязчивые действия и мысли, о которых будет речь в последующих частях этой статьи.

Прежде всего невротическое заболевание на пятом или четвертом году жизни показывает, что детские переживания сами по себе оказываются в состоянии продуцировать невроз и что для этого не требуется отказа от поставленной в жизни задачи. Мне возразят, что и ребенку беспрерывно предъявляются требования, от которых он желал бы избавиться. Это верно, но жизнь ребенка дошкольного возраста нетрудно видеть насквозь, можно ведь исследовать, имеется ли в ней «задача», являющаяся причиной невроза. Но обычно отмечают только влечений, удовлетворение которых невозможно для ребенка, одоление которых ему не под силу, и источники, из которых эти влечения проистекают.

Громадное сокращение интервала между возникновением невроза и времени, когда разыгрались детские переживания, о которых идет речь, приводит, как и следовало ожидать, к крайнему уменьшению регрессивной части причинных моментов и ведет к открытому проявлению прогрессивной части их, влиянию ранних впечатлений. Эта история болезни, как я надеюсь, даст ясную картину этих обстоятельств. Но еще и по другим основаниям этот детский невроз дает решительный ответ на вопрос о природе «первичных сцен» или самых ранних, открытых анализом, детских переживаний.

Допустим, что никто не возражает против того, что подобная «первичная сцена» технически сконструирована правильно, что она необходима для обобщающего разрешения всех загадок, которые у нас возникают благодаря симптоматике детского заболевания, что из этой сцены исходят все влияния, подобно тому, как к ней привели все нити анализа – тогда, если принять во внимание ее содержание, она не может оказаться чем-нибудь иным, как репродукцией пережитой ребенком реальности. Потому что ребенок может, как и взрослый, продуцировать фантазии только при помощи каким-либо образом приобретенного материала; пути такого приобретения для ребенка частично (как, например, чтение) недоступны, время, которым он располагает для такого приобретения, коротко и его легко изучить для открытия таких источников приобретения.

В нашем случае «первичная сцена» содержит картину полового общения между родителями в положении, особенно благоприятном для некоторых наблюдений. Если бы мы открыли эту сцену у больного, симптомы которого, т. е. влияние сцены, проявились когда-нибудь в более позднем периоде жизни, то это вовсе не доказывало бы еще реальности этой сцены. Такой больной может в самые различные моменты длинного интервала приобрести те впечатления, представления и знания, которые он впоследствии превращает в фантастическую картину, проецирует ее в детство и связывает с родителями. Но если действия такой сцены проявляются на четвертом и пятом году жизни, то ребенок должен был видеть эту сцену еще в

более раннем возрасте. Но тогда сохраняют свою силу все те выводы, к которым мы пришли посредством анализа инфантильного невроза. Разве только кто-нибудь стал бы утверждать, что пациент бессознательно вообразил себе не только эту «первичную сцену», но сочинил также и изменение своего характера, свой страх перед волком и свою религиозную навязчивость – но такое мнение прямо противоречило бы его обычному трезвому складу и прямой традиции его семьи. Итак, приходится остаться при том – другой возможности я не вижу, – что анализ, исходящий из его детского невроза, представляет собой бессмысленную шутку или же что все обстояло именно так, как я изложил это выше.

Выше нам показалась странной двусмысленность того места, где говорится, что особенная любовь пациента к женским nates и к коитусу в таком положении, при котором эти части особенно выдаются, по-видимому, должна происходить от наблюденного коитуса родителей, между тем как такое предпочтение составляет общую черту предраспоженных к неврозу навязчивости архаических конституций. Здесь само напрашивается объяснение, разрешающее противоречие, как сверхдетерминирование. Лицо, у которого он наблюдал это положение при коитусе, был ведь его родной отец, от которого он и мог унаследовать эту конституциональную особенность. Против этого не говорит ни последующая болезнь отца, ни история семьи; брат отца, как уже сказано, умер в состоянии, которое следует считать тяжелой болезнью навязчивости.

В связи с этим нам вспоминается, что сестра, соблазняя 3*1/2* —летнего мальчика, высказала о няне странную клевету, что та ставит всех на голову и прикасается к их гениталиям. Тут у нас напрашивается мысль, что, может быть, и сестра в таком же раннем возрасте видела те же сцены, что позже брат, и это навело ее на мысль о том, что при половом акте становятся на голову. Такое предположение содержало бы и указание на источник ее собственного преждевременного сексуального развития.

В мои намерения первоначально не входило продолжать здесь обсуждение вопроса о реальной ценности «первичной сцены», но так как я вынужден был коснуться этой темы в моих «Лекциях по введению в психоанализ» в более широком освещении вопроса и не с полемической целью, то могло бы привести к недоразумению, если бы я не применил решающих там точек зрения к разбираемому здесь случаю. В дополнение и исправление сказанного я продолжаю поэтому: возможно еще одно понимание «первичной сцены», лежащей в основе сновидения, которое значительно меняет принятое раньше решение и избавляет нас от многих затруднений. Учение, желающее свести инфантильные сцены к регрессивным символам, все же ничего не выигрывает и при этой модификации; оно мне кажется вообще окончательно опровергнутым этим – как и всяким другим – анализом детского невроза.

Я полагаю, что можно представить себе положение вещей и следующим образом. Мы не может отказаться от предположения, будто ребенок наблюдал коитус, вид которого привел его к убеждению, что кастрация может быть чем-то большим, чем одна только пустая угроза; также значение, которое приобретает положение мужчины и женщины для развития страха, и условие любви не оставляют нам никакого другого выбора, как только прийти к заключению, что это должен был быть коитус a tergo, more ferrarum. Но другой момент не так незаметен, и от него можно отказаться. Может быть, ребенок наблюдал коитус не родителей, а животных и перенес его на родителей, как бы сделав заключение, что родители поступают точно так же.

В пользу такого взгляда говорит прежде всего то, что волки в сновидении представляют собой, собственно говоря, овчарок и на рисунке кажутся таковыми. Незадолго до сновидения мальчика неоднократно брали на осмотр стад овец, где он мог видеть таких больших белых собак и, вероятно, наблюдать их при коитусе. Я хотел бы также привести в связь с этим число три, которое сновидец выдвинул без всякой дальнейшей мотивировки, и предположить, что у него сохранилось в памяти, что он сделал три таких наблюдения над овчарками. Возбужденный ожиданием в ночь, когда он видел сон, он перенес воспринятую недавно картину, запечатлевшуюся в памяти, со всеми деталями на родителей, вследствие чего только и стали возможны такие могучие действия аффектов. Теперь вдруг явилось понимание этих впечатлений, воспринятых, может быть, несколько недель или месяцев до того, – процесс, который может каждый из нас испытать на самом себе. Перенесение с совокупляющихся собак на родителей совершилось не в виде словесного вывода, а благодаря тому, что в воспоминании всплыла реальная сцена нежности родителей, которая слилась с ситуацией коитуса. Все установленные анализом сновидения детали сцены могут быть воспроизведены вполне правильно. Дело, действительно, происходило летом после обеда, когда ребенок болел малярией, родители были оба в белом и присутствовали при том, когда ребенок проснулся, но сцена была самая невинная. Все остальное прибавило потом желание любопытного ребенка подглядеть любовное общение родителей на основании его опыта с собаками, и тогда вымышленная таким образом сцена привела ко всем тем последствиям, которые мы ей приписываем, таким же, как если бы она была совершенно реальна и не была склеена из двух частей: одной ранней – индифферентной и позднейшей, произведшей очень сильное впечатление.

Совершенно очевидно, насколько меньше предъявляется требований к нашему доверию в последнем случае. Нам незачем больше предполагать, что родители совершали коитус в присутствии хотя и очень маленького ребенка, – представление, не очень-то для нас приятное. Значительно уменьшается момент запоздалости действия; он относится теперь только к нескольким месяцам четвертого года жизни ребенка и вовсе не доходит до темных первых лет детства. Ничего странного не остается в поведении ребенка, который переносит с собак на родителей и боится волка вместо отца. Ребенок находится в фазе развития своего миросозерцания, которое в «Тотем и табу» называется возвращением тотемизма. Учение, желающее объяснить «первичные сцены» неврозов обратным фантазированием переживаний более поздних лет, приобретает, по-видимому, в нашем наблюдении, несмотря на ранний четырехлетний возраст, в нашем невротике веское подтверждение. Как он ни молод, ему все же удалось заменить впечатление из четвертого года жизни вымышленной травмой в возрасте полутора лет; но регрессия не кажется ни загадочной, ни тенденциозной. Сцена, которую нужно было создать, должна была отвечать известным условиям, которые благодаря обстоятельствам жизни сновидца могли иметь место только в ранние годы, например то обстоятельство, что он находился в кровати в спальне родителей.

Но большинство читателей придаст прямо решающее значение тому, что я могу еще прибавить из аналитических результатов других случаев в пользу правильности предложенного последнего взгляда. Сцена наблюдения родительского коитуса в очень раннем детстве – будь то реальное воспоминание или фантазия – вовсе не составляет редкости в анализах невротических людей. Может быть, она так же часто встречается и у не ставших невротиками. Может быть, она

составляет постоянную часть их – сознательного или бессознательного – сокровища воспоминаний. Но всякий раз, когда мне удавалось развить подобную сцену благодаря анализу, она имела те же особенности, которые приводят нас в смущение и в данном случае: она относилась к коитусу a tergo, который один только и дает возможность зрителю разглядеть гениталии. Тут уже не приходится более сомневаться, что дело идет только о фантазии, которая, может быть, всегда вызывается наблюдением над сексуальным общением животных. И еще больше, я уже заметил, что мое описание «первичной сцены» осталось несовершенным, так как я отложил до другого раза сообщение о том, каким образом ребенок мешает общению родителей. Должен прибавить, что и способ, каким он это делает, один и тот же во всех случаях.

Могу себе представить, что навлек на себя тяжелые подозрения со стороны читателя этой истории болезни. Если я располагал этими доказательствами в пользу такого понимания «первичной сцены», то как я мог взять на себя защиту другого понимания, кажущегося таким абсурдным? Или, может быть, в промежуток времени между написанием этой истории болезни и этого добавления я приобрел новый опыт, заставивший меня изменить мое первоначальное понимание, и по каким-либо мотивам я не хотел в этом сознаться? Зато я сознаюсь в чем-то другом: на этот раз я собираюсь закончить обсуждение вопроса о реальной ценности «первичной сцены» с non liquet. Эта история болезни еще не закончена; в дальнейшем ее течении всплывет момент, который нарушит уверенность нашу в настоящую минуту. Тогда уже ничего другого не останется, как сослаться на то место в моих «Лекциях», где я обсуждаю проблему первичных фантазий или «первичных сцен».

VI. Невроз навязчивости

В третий раз он подвергся влиянию, изменившему решительным образом его развитие. Когда ему было 4c1/2 года и его состояние раздраженности и боязливости все еще не улучшилось, мать решила познакомить его с Библией, в надежде отвлечь его и поднять его настроение. Это ей удалось: введение религии в систему воспитания положило конец предшествующей фазе, но повлекло за собой замену симптомов страха симптомами навязчивости. До того он с трудом засыпал, так как боялся, что увидит во сне такие же дурные вещи, как в ночь под рождество; теперь, прежде чем лечь в постель, он должен был целовать все иконы в комнате, читать молитвы и класть бесконечное количество раз крестное знамение на постель и на самого себя.

Его детство явно расчленилось для нас теперь на следующие эпохи: во-первых, время, предшествующее соблазну (3*1/4* года), когда имела место «первичная сцена», во-вторых, время изменения характера до страшного сновидения (4 года), в-третьих, фобия животного до знакомства с религией (4*1/2* года), а с этого момента – период невроза навязчивости до десятилетнего возраста включительно. Внезапной и гладкой замены одной фазы последующей не бывает в силу природы вещей и обстоятельств; не было и у нашего пациента, для которого, наоборот, характерны были сохранение в силе всего прошлого и одновременно существование самых различных течений. «Испорченность» не исчезла, когда наступил страх, и, постепенно уменьшаясь, продолжалась во время набожности. Но о фобии волков в этой последней фазе нет больше речи. Невроз навязчивости протекал с перерывами: первый припадок был самым

длинным и интенсивным, следующие наступали в восемь и в десять лет, всякий раз по поводам, которые находились в явной связи с содержанием невроза. Мать сама рассказывала ему священную историю и, кроме того, велела няне читать ему о ней из книги, разукрашенной иллюстрациями. Главное значение при этом придавалось, разумеется, истории страстей господних. Няня, которая была очень набожна и суеверна, давала по этому поводу свои объяснения, но должна была также выслушивать все возражения и сомнения маленького критика. И если колебания и борьба, которые его теперь начали потрясать, в конце концов закончились победой веры, то это произошло не без влияния няни.

То, что он мне рассказал, как воспоминания о своих реакциях на знакомство с религией, встретило с моей стороны сначала решительное недоверие. Это, говорил я, не могло быть мыслями 4*1/2* – 5-летнего ребенка; вероятно, он перенес в это раннее прошлое то, что явилось плодом размышления 30-летнего взрослого человека.

Но пациент ничего и знать не хотел о такой поправке; его не удалось убедить в этом, как и во многих других различиях во взглядах между нами; связь между припоминаемыми им мыслями и симптомами, о которых он сообщал, как и то, что они вполне подходили к его сексуальному развитию, заставили меня, в конце концов, поверить ему. Я сказал себе тогда также, что критика учений религии, которую я не хотел допустить у ребенка, выполняется только самым минимальным числом взрослых людей.

Я приведу теперь материал его воспоминаний и потом уже поищу путь, который ведет к его пониманию.

Впечатление, произведенное на него рассказами священной истории, было, по его словам, сначала неприятное. Сперва он возмущался страдальческим характером личности Христа, а потом всей совокупностью его истории. Он направил свою недовольную критику против бога-отца. Если он, мол, так всемогущ, то это его вина, что люди так дурны и мучают других, за что попадают потом в ад. Ему следовало бы сделать их хорошими; он сам ответствен за все зло и все мучения. Он возмутился заповедью, требующей подставить другую щеку, если получишь удар по одной, и тем, что Христос на кресте желал, чтобы его миновала сия чаша; но также и тем, что не совершилось чуда, которое доказало бы, что он сын божий. Его острый ум был уже, таким образом, пробужден и с неумолимой строгостью вскрывал все слабые стороны священной легенды.

Но скоро к этой рационалистической критике присоединились мудрствования и сомнения, которые могут обнаружить нам сотрудничество потаенных душевных движений. Один из первых вопросов, поставленных им няне, имел ли Христос заднюю часть. Няня ответила, что он был богом, но также и человеком. Как человек, он имел и делал все, как другие люди. Это его совершенно не удовлетворило, но он сумел сам себя успокоить, подумав, что задняя часть ведь составляет только продолжение ног. Едва успокоенный страх перед вынужденным унижением священной особы опять разгорелся, когда у него возник новый вопрос: испражнялся ли также Христос? Он не решался поставить этот вопрос благочестивой няне, но сам нашел выход, лучше которого она не могла бы ему указать. Так как Христос сделал из ничего вино, то он мог, вероятно, также превратить пищу в ничего и мог таким образом избавиться от необходимости дефекации.

Мы приблизимся к пониманию этих умствований, если начнем с описанной раньше части

его сексуального развития. Нам известно, что его сексуальная жизнь после отпора, данного ему няней, и связанного с ним подавления начинающейся генитальной деятельности развилась в сторону садизма и мазохизма. Он мучил и терзал животных, фантазировал о нанесении ударов лошадям, а с другой стороны, о том, что престолонаследника бьют. В садизме он сохранял самую старую идентификацию с отцом, в мазохизме он избрал себе отца в сексуальные объекты. Он находился полностью в фазе прегенитальной организации, в которой я вижу предрасположение к неврозу навязчивости. Под впечатлением сновидения, поставившего его под влияние «первичной сцены», он мог бы подвинуться вперед к генитальной организации и превратить свой мазохизм по отношению к отцу в женственную установку к нему же, в гомосексуальность. Но такого успеха это сновидение не имело, оно закончилось страхом. Отношение к отцу, которое от сексуальной цели, состоящей в желании испытать от него телесное наказание, должно было привести к следующей цели – иметь, как женщина, с отцом половое сношение, – было, благодаря противодействию его нарцистической мужественности, отброшено на еще более примитивную ступень; посредством сдвига на замену отца волком оно затем отщепилось, как страх быть съеденным волком, но этим путем никоим образом не исчерпалось. Скорее мы сможем понять кажущееся таким сложным положение вещей, если будем твердо помнить, что у него одновременно существуют три сексуальных стремления, направленных на отца. Со времени сновидения он был гомосексуален в бессознательном, а в неврозе – на уровне каннибализма; господствующей осталась прежняя мазохистская установка. Все три течения имели пассивные сексуальные цели; объект был тот же, те же сексуальные стремления, но произошло расщепление их на три различных уровня.

Знание священной истории дало ему возможность сублимировать господствующую мазохистскую установку к отцу. Он стал Христом, что ему особенно легко было благодаря одному и тому же дню рождения. Этим он стал чем-то большим, а также – чему пока не придавалось еще большого значения – мужчиной. В сомнении, имел ли Христос заднюю часть, слегка отражается вытесненная гомосексуальная установка, так как все это мудрствование не могло иметь никакого другого значения, кроме вопроса, может ли он быть использован отцом, как женщина, как мать в «первичной сцене». Когда мы придем к разрешению второй навязчивой идеи, мы увидим, что это толкование подтверждается. Вытеснению пассивной гомосексуальности соответствовало соображение, что заслуживает резкого порицания – связывать священную особу с такими предположениями. Заметны его старания освободить свои новые сублимации от придатка, который они получали из источников вытесненного. Но это ему не удалось.

Мы еще не понимаем, почему он восставал также против пассивного характера Христа и против истязаний со стороны отца и этим стал отрицать свой прежний мазохистский идеал даже в его сублимированной форме. Мы можем предположить, что этот второй конфликт особенно благоприятствовал проявлению унижающих навязчивых мыслей из первого конфликта (между господствующим мазохистским и вытесненным гомосексуальным течением), потому что ведь вполне естественно, если в душевном конфликте суммируются друг с другом все противоположные течения, идущие даже из самых различных источников. Мотив его сопротивления и вместе проявляемой критики религии мы узнаем из новых его сообщений.

Из рассказов священной истории выиграли также его сексуальные исследования. До сих

пор у него не было никакого основания думать, что дети происходят только от женщины. Напротив, няня дала ему повод верить, что он ребенок отца, а сестра – матери, и это более близкое отношение к отцу было для него очень ценно. Теперь он услышал, что Марию звали богородицей. Значит, дети происходили от матери, и словам няни не следует больше верить. Далее, благодаря этому рассказу, он не знал больше, кто именно был отцом Христа. Он был склонен считать таковым Иосифа, потому что слышал, что они всегда вместе жили, но няня сказала, что Иосиф был только как отец, а настоящим отцом был бог. Тут он ничего не мог понять. Он понял только то, что если об этом вообще еще можно спорить, то, значит, отношения между сыном и отцом не такие близкие, как он себе всегда представлял.

Ребенок чувствовал в известной мере ту амбивалентность чувств к отцу, которая отразилась во всех религиях, и напал на свою религию вследствие ослабления этих отношений к отцу. Разумеется, его оппозиция скоро перестала быть сомнением в истинах учения и обратилась прямо против особы бога. Бог сурово и жестоко обращался со своим сыном, но не лучше относился он к людям. Он принес своего сына в жертву, и того же он требовал от Авраама. Ребенок начал бояться бога.

Если он был Христом, то отец был богом. Но бог, которого ему навязывала религия, не был настоящей заменой отца, которого он любил и которого он не хотел позволить у себя отнять. Любовь к этому отцу была источником его критического остроумия. Он сопротивлялся богу для того, чтобы иметь возможность сохранить отца, и при этом, собственно говоря, защищал старого отца против нового. Ему пришлось тут проделать трудное дело отхода от привязанности к отцу.

Итак, это была старая, проявившаяся в самом раннем детстве любовь к отцу, у которой он черпал энергию для борьбы против бога и остроту ума для критики религии. Но, с другой стороны, эта враждебность к новому богу не была также первоначальным актом, она имела прообраз во враждебных душевных движениях к отцу, появившихся под влиянием страшного сновидения, и, по существу, была только их обновлением. Оба противоположных движения чувства, которым предстояло управлять всей его последующей жизнью, столкнулись здесь для амбивалентной борьбы вокруг темы религии. То, что получилось из этой борьбы, как симптом, – богохульственные мысли, навязчивость, владевшая им и заставлявшая думать: бог – грязь, бог – свинья, – было, поэтому, настоящим компромиссным результатом, как нам покажет анализ этих идей в связи с анальной эротикой.

Некоторые другие симптомы навязчивости менее типичного характера также несомненно ведут к отцу, но дают также возможность открыть связь невроза навязчивости с прежними случаями.

К богобоязненному церемониалу, которым он в конце концов искупал свое богохульство, относилась также заповедь – при известных условиях торжественным образом дышать. При совершении крестного знамения он должен был всякий раз глубоко вдыхать или сильно выдыхать. На его родном языке выдох (Hauch) то же самое, что дух (Geist). Это была, следовательно, роль святого духа. Он должен был вдохнуть святой дух или выдохнуть злых духов, о которых он слышал и читал. Этим злым духам он приписал также богохульные мысли, за которые он должен был наложить на себя столько покаяния. Но он должен был выдыхать, когда он видел нищих, калек, старых, внушающих жалость людей, и он не понимал, какая связь между этой навязчивостью и духами. Он отдавал себе отчет только в том, что делает это, чтобы

не стать таким, как эти люди.

Тут анализ в связи со сновидением привел к тому объяснению, что выдыхание при виде людей, внушающих сожаление, началось только на седьмом году жизни и имело отношение к отцу. Он несколько месяцев не видел отца, когда мать однажды сказала, что поедет с детьми в город и покажет им что-то такое, что их очень обрадует. Она привела их в санаторий, в котором они увиделись с отцом; он плохо выглядел, и сыну было его очень жалко. Отец, следовательно, был прообразом всех калек, попрошаек и нищих, в присутствии которых он должен был выдыхать, подобно тому, как он обычно бывает прообразом рож, которые показываются в состояниях страха, и карикатур, которые рисуют в насмешку. В другом месте мы еще узнаем, что эта установка сострадания относится еще к особенной детали «первичной сцены», которая так поздно проявилась в неврозе навязчивости.

Желание не стать таким, как калеки, мотивировавшее выдыхание в присутствии последних, было, следовательно, старой идентификацией с отцом, превращенной в негатив. Все же он копировал отца и в положительном смысле, потому что глубокое вдыхание было подражением шуму, который при коитусе, как он слышал, издавал отец. Святой дух обязан был своим происхождением этому признаку чувственного возбуждения у мужчин. Благодаря вытеснению это дыхание стало злым духом, для которого имеется еще и другая генеалогия, а именно малярия, которой он был болен во время «первичной сцены».

Отрицание этих злых духов соответствовало явно аскетической черте, проявлявшейся еще и в других реакциях. Когда он услышал, что Христос вселил однажды злых духов в свиней, упавших затем с кручи, то он подумал о том, что сестра в свои первые детские годы еще до того, как он мог об этом помнить, скатилась со скалистой дорожки на берег. Она, значит, тоже была таким злым духом и свиньей; отсюда короткий путь вел к богу-свинье. Отец сам, как оказалось, также находится во власти чувственности. Когда он узнал историю первых людей, то обратил внимание на сходство своей судьбы с судьбой Адама. В разговоре с няней он лицемерно удивился тому, что

Адам позволил женщине навлечь на себя несчастье, и обещал няне, что никогда не женится. В это время резко проявилась враждебность к женщине вследствие соблазна сестрой. В его будущей любовной жизни ему очень часто мешала эта враждебность. Сестра стала для него надолго воплощением искушения и греха. Когда он исповедовался, он казался себе чистым и безгрешным, и затем ему казалось, будто сестра подстерегает его, чтобы снова ввергнуть в грех, и не успевал опомниться, как провоцировал уже какой-нибудь спор с сестрой, из-за которого снова становился грешным. Таким образом, он вынужден был все снова воспроизводить факт соблазна. Кстати, как его ни мучили его богохульственные мысли, он никогда не рассказывал о них на исповеди.

Незаметно мы перешли к симптоматике невроза навязчивости более поздних лет и потому, пропустив многое, что было в это время, расскажем о его конце. Нам уже известно, что невроз этот, никогда не прекращаясь окончательно, усиливался от времени до времени периодически, один раз, – что нам еще не может быть понятным, – когда на той же улице умер мальчик, с которым он себя отождествлял. В десятилетнем возрасте к нему был приглашен гувернер – немец, который вскоре приобрел на него очень большое влияние. Очень поучительно, что вся его тяжелая набожность исчезла и никогда больше не оживала после того, как он заметил и в

поучительных беседах с учителем узнал, что этот заместитель отца не придает никакого значения набожности и не верит в истины религии. Набожность исчезла вместе с зависимостью от отца, которого сменил другой, более общительный отец. Это произошло, правда, не без последней вспышки невроза навязчивости, из которой особенно запомнилась ему навязчивость – вспоминать о святой троице всякий раз, когда видишь на улице три кучки навоза, лежащие вместе. Он никогда не поддавался какому-нибудь воздействию, не сделав попытки удержать обесцененное. Когда учитель убедил его не быть жестоким по отношению к мелким животным, он положил конец и этим злым поступкам, но не без того, чтобы основательно удовлетвориться предварительно еще раз разрезыванием гусениц. Так же он вел себя и во время аналитического лечения, проявляя преходящую и «отрицательную» реакцию. После всякого окончательного разрешения симптома он на короткое время пытался отрицать его действие ухудшением разрешенного симптома. Известно, что дети вообще ведут себя подобным образом по отношению к запрещению. Когда на них накричишь за то, что они производят, например, бесконечный шум, то прежде, чем прекратить его, они его повторяют еще раз после запрещения. Они достигли этим того, что прекратили шум, как будто добровольно, а запрещения не послушались.

Под влиянием немецкого учителя развилась еще новая и лучшая сублимация его садизма, одержавшего в связи с приближавшимся тогда половым созреванием верх над мазохизмом. Он стал мечтать о военщине, о формах, оружии и лошадях и беспрерывно отдавался этим грезам. Таким образом, под влиянием мужчины он освободился от своей пассивной установки и сперва находился на довольно нормальном пути. Отзвуком зависимости от учителя, покинувшего его вскоре после этого, было то, что в последующей жизни он отдавал предпочтение немецкому элементу (врачи, санатории, женщины) перед родным (замещением отца), что создало большие преимущества перенесению в лечении.

Ко времени перед освобождением благодаря учителю относится еще сновидение, о котором я упоминаю, потому что оно было забыто до соответствующего случая в лечении. Он видел себя верхом на лошади, преследуемым огромной гусеницей. Он узнал в этом сне намек на прежнее сновидение из периода жизни, предшествовавшего учителю, которое мы уже давно истолковали. В том прежнем сновидении он видел черта в черном одеянии, в вертикальном положении, которое в свое время так напугало его в волке и во льве. Протянутым пальцем черт указывал на огромную улитку. Он сейчас же понял, что этот черт есть демон из известной поэмы, а само сновидение – переработка очень распространенной картины, изображающей демона в любовной сцене с девушкой. Улитка была вместо женщины, как исключительно женский сексуальный символ. Руководствуясь указывающим жестом демона, мы смогли скоро прийти к заключению, что смысл сна состоит в том, что сновидец тоскует по ком-то, кто дал бы ему последние еще недостающие наставления о загадке полового общения, как в свое время отец в «первичной сцене» дал ему первые.

По поводу более позднего сновидения, в котором женский символ заменен мужским, он вспоминает одно определенное переживание незадолго до сновидения. Однажды он проезжал верхом в имении мимо спящего мужика, возле которого лежал его сын. Мальчик разбудил отца и сказал ему что-то, вслед за чем отец стал ругать и преследовать всадника, так что последний поспешил удалиться на своей лошади. К этому присоединяется второе воспоминание, что в том

же имении имелись деревья, совершенно белые от того, что были облеплены гусеницами. Нам понятно, что он бежал также перед реализацией фантазии, что сын спит с отцом и что он примешал сюда белые деревья, чтобы намекнуть на кошмарный сон о белых волках на ореховом дереве. Это был, следовательно, просто взрыв страха перед женственной установкой к мужчине, от которой он сначала защищался посредством религиозной сублимации, а скоро затем посредством воинской, еще более действительной установки.

Но большой ошибкой было бы полагать, что после прекращения симптомов навязчивости невроз навязчивости не оставил у него никакого длительного следа. Процесс привел к победе благочестивой веры над критически-исследовательским протестом, и предпосылкой его было вытеснение гомосексуальной установки. Оба фактора привели к устойчивым дефектам. Интеллектуальная деятельность после этого первого большого поражения тяжело пострадала. Прилежания к учению не развилось, и больше не проявлялся у него тот острый ум, который в свое время, в раннем пятилетнем возрасте, разрушил своей критикой учения религии. Совершившееся во время того кошмарного сновидения вытеснение слишком сильной гомосексуальности сохранило это душевное движение огромной важности за бессознательным, задержало его таким образом при его первоначальной целевой установке и отняло его от всех тех сублимаций, на которые оно обычно направляется. У пациента поэтому не было тех социальных интересов, которые дают содержание жизни. Только тогда, когда в лечении удалось освободить эту скованность гомосексуальности, положение вещей смогло принять лучший оборот, и очень интересно было наблюдать, как – без непосредственного указания врача – всякая освобожденная доля гомосексуального либидо стремилась найти себе применение в жизни и приобщиться к большой общественной деятельности человечества.

VII. Анальная эротика и кастрационный комплекс

Прошу читателя вспомнить, что эту историю детского невроза я получил, так сказать, как побочный продукт во время анализа заболевания в зрелом возрасте. Я должен был составить ее из еще меньших отрывков, чем те, какими обыкновенно располагаешь для синтеза. Эта, нетрудная обычно работа имеет свою естественную границу там, где дело идет о расположении в плоскости описания образования, имеющего различные протяжения. Я, следовательно, должен удовлетвориться тем, что предлагаю отдельные члены, которые читатель должен сам соединить в одно живое, целое. Как неоднократно подчеркивалось, описанный невроз навязчивости возник на почве садистски-анальной конституции. Но до сих пор речь шла только об одном главном факторе: о садизме и его превращениях. Все, что касается анальной эротики, было преднамеренно оставлено в стороне, теперь же необходимо все вместе дополнить.

Аналитики уже давно пришли к заключению, что многочисленные влечения, объединенные в понятии анальной эротики, имеют необычное, не поддающееся достаточно высокой оценке, значение для всего строя сексуальной жизни и душевной деятельности. А также и то, что одно из самых важных проявлений преобразованной эротики из этого источника проявляется в обращении с деньгами; этот ценный материал в течение жизни привлек к себе психический интерес, направленный первоначально на кал, продукт анальной зоны. Мы привыкли объяснять экскрементальным наслаждением интерес к деньгам, поскольку он, по природе своей,

либидинозен и нерационален, и требовать от нормального человека, чтобы он в своих отношениях к деньгам был безусловно свободен от либидинозных влияний и руководствовался реальными соображениями.

У нашего пациента во время его позднейшего заболевания отношение к деньгам было нарушено в особенно жестокой мере, и это имело далеко не малое значение для его несамостоятельности и жизненной непригодности. Благодаря наследству от отца и от дяди он стал очень богат, явно придавал большое значение тому, чтобы слыть богатым, и очень огорчался, когда его в этом отношении недооценивали. Но он не знал, сколько он имел, сколько тратил и сколько у него оставалось, трудно было сказать, считать ли его скупым или расточительным. Он вел себя то так, то иначе, но никогда его поведение не указывало на преднамеренную последовательность. Судя по некоторым странным чертам, которые я ниже упомяну, можно было бы его считать за ненормального скупца, который в богатстве видит самые большие преимущества своей личности и, в сравнении с денежными интересами, не принимает даже во внимание какие бы то ни было интересы чувства. Но других он ценил не по их богатству и во многих случаях проявлял себя, скорее, скромным, сострадательным и готовым оказать помощь другому. Он не умел сознательно распоряжаться деньгами, они имели для него какое-то другое значение.

Я уже упомянул, что мне казалось очень подозрительным то, как он утешил себя в гибели сестры, ставшей за последние годы его лучшим товарищем, соображением: теперь ему незачем делить с ней наследство родителей. Еще более странно, может быть, было то спокойствие, с которым он это рассказывал, как будто бы совсем не понимал бесчувственности, в которой таким образом признавался. Хотя анализ реабилитировал его, показав, что боль за сестру подверглась сдвигу, но тогда ведь только стало совсем непонятно, что в обогащении он хотел найти замену сестры.

В другом случае его поведение казалось ему самому загадочным. После смерти отца оставшееся имущество было разделено между ним и матерью. Мать управляла имуществом и, как он сам признавал, шла навстречу его денежным требованиям щедро и самым безупречным образом. И тем не менее, каждое обсуждение денежных вопросов между ними кончалось жесточайшими упреками с его стороны, что она его не любит, что она думает только о том, чтобы сэкономить на нем, и что она, вероятно, желала бы лучше всего видеть его мертвым, чтобы одной распоряжаться деньгами. Мать, плача, уверяла в своем бескорыстии, он стыдился и совершенно искренне уверял, что вовсе этого и не думает, но был уверен, что при ближайшем случае повторит ту же сцену.

Что кал задолго до анализа имел для него значение денег, – это явствует из многих случаев, из которых я сообщу только два. В то время, когда кишечник его еще не был захвачен болезнью, он однажды в одном большом городе навестил своего бедного кузена. Когда он ушел, он упрекал себя в том, что не оказал этому родственнику денежной помощи, и непосредственно за этим «у него был, может быть, самый обильный стул в его жизни». Два года спустя он назначил этому кузену ренту. Другой случай: в 18-летнем возрасте, во время подготовки к экзамену зрелости, он посетил товарища и обсуждал с ним, что бы получше предпринять, так как оба боялись провалиться на экзамене. Решили подкупить служителя гимназии, и его доля в требуемой сумме была, разумеется, самая большая. По дороге домой он думал о том, что готов дать еще больше,

если он только выдержит, если на экзамене с ним ничего не случится, и с ним, действительно, случилось другое несчастье еще раньше, чем он успел дойти до дома.

Мы готовы услышать, что в своем последующем заболевании он страдал упорными, хотя и колеблющимися по различным поводам, расстройствами функции кишечника. Когда он начал у меня лечиться, он привык к клизмам, которые ему делал сопровождавший его человек; самостоятельного опорожнения кишечника не бывало месяцами, если не случалось внезапного возбуждения определенного характера, вследствие которого несколько дней устанавливалось правильное действие кишечника. Главная его жалоба состояла в том, что мир окутан для него в завесу или что он отделен от мира завесой. Эта завеса разрывалась только в тот момент, когда при вливании опорожнялось содержимое кишечника, и тогда он снова себя чувствовал здоровым и нормальным.

Коллега, к которому я направил его для освидетельствования кишечника, был достаточно проницателен и диагностировал функциональное и даже психически обусловленное расстройство и воздержался от серьезных назначений. Впрочем, ни эти назначения, ни предписанная диета не оказали никакой пользы. В годы аналитического лечения не было произвольного действия кишечника (но считая указанных внезапных влияний). Больного удалось убедить, что всякая интенсивная обработка упрямого органа еще ухудшила бы его состояние, и он удовлетворился тем, что вызывал действие кишечника один или два раза в неделю посредством вливания или приемом слабительного.

При изложении нарушений кишечника я предоставил позднейшему состоянию болезни пациента больше места, чем это входило в план данной работы, посвященной его детскому неврозу. К этому побудили меня два основания, во-первых, то, что симптоматика кишечника, собственно с малыми изменениями, перешла из детского невроза в позднейший, и, во-вторых, при окончании лечения на ее долю выпала главная роль.

Известно, какое значение имеет для врача, анализирующего невроз навязчивости, сомнение. Оно является самым сильным оружием больного, предпочтительным средством его сопротивления. Благодаря этому сомнению пациенту удавалось, забаррикадировавшись почтительным безразличием, годами противиться всем усилиям лечения. Ничего не менялось и не было никакого средства убедить его в чем-нибудь. Наконец, я понял, какое значение нарушение кишечника могло иметь для моих целей; оно представляло собой ту долю истерии, которая всегда лежит в основе невроза навязчивости. Я обещал пациенту полное восстановление деятельности его кишечника, сделал, благодаря этому обещанию, его недоверие явным и получил затем удовлетворение, видя, как исчезло его сомнение, когда кишечник, как истерически больной орган, начал принимать участие в работе и в течение немногих недель восстановил свою нормальную, так долго нарушенную функцию.

Теперь возвращаюсь к детству пациента, к периоду, когда кал для него не мог иметь значения денег.

Нарушения кишечника у него появились очень рано, прежде всего – самое частое и естественное у ребенка недержание кала. Но мы, безусловно, правы, если не согласны с патологическим объяснением этих ранних случаев и видим в них только доказательство намерения не допустить до помехи или задержки в удовольствии, связанном с функцией опорожнения кишечника. Большое удовольствие от анальных острот и проявлений, которое

обычно соответствует естественной грубости некоторых классов общества, сохранилось у него и после начала позднейшего заболевания.

Во время пребывания англичанки-гувернантки неоднократно случалось, что он и няня должны были оставаться в комнате ненавистной воспитательницы. Няня, вполне верно понимая, констатировала тогда, что именно в эти ночи он пачкался в кровати, чего уже давно не было. Он этого вовсе не стыдился, то было выражение упрямства по отношению к гувернантке.

Год спустя (в 4*1/2* года) в период страхов случилось, что он днем испачкал штаны. Он ужасно стыдился и плакал, когда его мыли: он так не может жить. За это время, значит, что-то изменилось, и на след этого изменения нас навело исследование его жалобы. Оказалось, что слова: так он не может больше жить – он повторял за кем-то другим. Однажды мать взяла его с собой, когда провожала на станцию посетившего ее врача. Дорогой она жаловалась на боли и кровотечения, и у нее вырвались те же слова «так я не могу больше жить»; она не думала, что ребенок, которого она вела за руку, сохранит их в памяти.

Жалоба, которую он, между прочим, бесконечное число раз повторял в своей последующей болезни, означала, следовательно, идентификацию с матерью.

Скоро появилось воспоминание о недостающем по времени и содержанию своему звене между этими двумя событиями. Это случилось однажды в начале периодов его страха, когда озабоченная мать велела принять меры предосторожности, чтобы уберечь детей от дизентерии, вспыхнувшей по соседству с имением. Он осведомился, что такое дизентерия, и когда услышал, что при дизентерии находят кровь в испражнениях, он очень испугался и стал утверждать, что и в его испражнениях имеется кровь; он боялся умереть от дизентерии, но посредством исследования его удалось убедить, что он ошибся и что ему нечего бояться. Мы понимаем, что в этом страхе пыталось проявиться отождествление с матерью, о кровотечениях которой он слышал в ее разговоре с врачом. При его последующей попытке к отождествлению (в 4*1/2* года) он упустил момент крови; он больше не понимал себя, полагал, что стыдится, и не знал, что дрожит от страха смерти, который вполне определенно проявился в его жалобе.

Страдавшая женской болезнью мать вообще тогда боялась за детей; весьма вероятно, что его боязливость, помимо ее собственных мотивов, упиралась еще на отождествление с матерью.

Что же обозначает это отождествление с матерью?

Между дерзким использованием недержания кала в 3*1/2* года и ужасом перед этим недержанием в 4*1/2* года имело место сновидение, с которого начался его период страха и которое объяснило ему пережитую им в 1*1/2* года сцену, и дало ему понимание роли женщины при половом акте. Весьма естественно перемену по отношению к дефекации привести в связь с этим большим переворотом. Дизентерией, очевидно, называлась, по его мнению, болезнь, на которую, как он слышал, мать жаловалась, что «с такой болезнью нельзя жить»; он считал мать больной не женской, а кишечной болезнью. Под влиянием «первичной сцены» он открыл связь между заболеванием матери и тем, что сделал с ней отец и его страх перед кровью в испражнениях, т. е. страх быть таким же больным, как мать, был отрицанием отождествления с матерью в той сексуальной сцене, – тем же отрицанием, с которым он проснулся после сновидения. Но страх был также доказательством того, что в последующей обработке «первичной сцены» он поставил себя на место матери, завидовал ей в ее отношениях к отцу. Орган, в котором могло проявиться это отождествление с женщиной, пассивно гомосексуальная

установка к мужчине, был анальной зоной. Нарушения функций этой зоны приобрели значение гомосексуальных нежных душевных движений и сохранили это значение во время последующего заболевания.

В этом месте нам придется услышать возражение, обсуждение которого внесет много ясности в запутанное, по-видимому, положение вещей. Ведь мы уже должны были предположить, что во время процесса сновидения он понял, что женщина кастрирована, что вместо мужского органа у нее рана, которой пользуются для полового общения, что кастрация является необходимым условием женственности, и что под влиянием угрозы такой потерей он вытеснил женскую установку к мужчине и со страхом проснулся от гомосексуальных мечтаний. Как вяжется это понимание полового общения, это признание вагины с избранием кишечника для идентификации с женщиной? Не покоятся ли кишечные симптомы на, вероятно, более старом, находящемся в полном противоречии с кастрационным страхом понимании, что выход из кишечного тракта является местом сексуального общения?

Несомненно, это противоречие существует, и оба понимания вовсе не вяжутся друг с другом. Вопрос только в том, должны ли они вязаться. Наше недоумение происходит от того, что мы всегда склонны относиться к бессознательным душевным процессам, как к сознательным, и забывать о глубоком различии обеих психических систем.

Когда в возбужденном ожидании в рождественском сновидении ему представилась картина когда-то увиденного (или сконструированного) полового общения родителей, то, несомненно, сперва явилось старое понимание его, по которому частью тела женщины, воспринимающей мужской орган, является выход из кишечного канала. Что же другое он мог подумать, когда в 1*1/2* года был свидетелем этой сцены? А теперь присоединилось то, что впервые случилось в 4 года. Его последующий опыт, услышанные намеки на кастрацию проснулись и набросили тень сомнения на «теорию клоаки», дали ему знание полового различия и сексуальной роли женщины. Он вел себя при этом, как вообще себя ведут дети, когда им дают нежелательные для них объяснения – сексуальное или какое-нибудь другое. Он отбросил новое – в данном случае из мотива страха кастрации – и уцепился за старое. Он решил вопрос в пользу кишечника и против вагины таким же образом и из тех же мотивов, как позже он стал на сторону отца против бога. Новое объяснение было отвергнуто, а старая теория сохранена; последняя могла дать материал для отождествления с женщиной, проявившегося потом как страх перед смертью от кишечника и как первое религиозное сомнение, имел ли Христос заднюю часть и т. п. Дело не в том, что новый взгляд остался без всякого влияния, как раз наоборот: он оказал невероятно сильное действие, став мотивом для того, чтобы удержать в вытеснении весь процесс сновидения и исключить его из позднейшей сознательной переработки. Но этим исчерпано было его влияние, на разрешение сексуальной проблемы он не оказал никакого действия. Разумеется, было несомненным противоречием то, что с того времени мог существовать страх кастрации, наряду с отождествлением с женщиной при посредстве кишечника. Но противоречие это было только логическое, что не имеет большого значения. Весь процесс, скорее, характеризует теперь то, как работает бессознательное. Вытеснение представляет собой нечто другое, чем осуждение.

Когда мы изучали происхождение фобии волка, мы проследили влияние нового взгляда на половой акт. Теперь, исследуя нарушение деятельности кишечника, мы находимся на почве старой теории клоаки. Обе точки зрения остаются отделенными одна от другой вытеснением.

Отвергнутая актом вытеснения женская установка к мужчине как бы сконцентрировалась в симптоматике кишечника и проявляется в часто наступающих поносах, запорах и болях в кишечнике в детском возрасте. Более поздние сексуальные фантазии, создавшиеся на основании правильных сексуальных знаний, могут регрессивным образом проявиться, как нарушение деятельности кишечника. Но мы их не поймем, пока не откроем изменения значения кала со времени первого детского периода.

Раньше я в одном месте намекнул, что часть содержания «первичной сцены» еще осталась, и теперь я могу ее пополнить. Ребенок прервал общение родителей испражнением, которое могло мотивировать его крик. К критике этого добавления относится все то, что я раньше привел при обсуждении остального содержания этой сцены. Пациент принял этот сконструированный заключительный акт и как будто подтвердил его «проходящим симптомообразованием». Дальнейшее добавление, предложенное мной, что отец, недовольный помехой, выразил свое недовольство тем, что выругался, должно было отпасть. Материал анализа на это не реагировал.

Деталь, которую я теперь прибавил, не может, разумеется, быть поставленной в ряд с остальным содержанием сцены. Дело тут идет не о впечатлении извне, возвращения которого можно ждать во многих позднейших признаках, а о реакции самого ребенка. Во всей истории ничего не изменилось бы, если бы этого проявления тогда не было или же если бы оно было вставлено в события сцены из позднейшего. Но не подлежит никакому сомнению то, как его нужно понимать. Оно означает возбужденность анальной зоны (в самом широком смысле). В других случаях такого рода наблюдение сексуального акта закончилось мочеиспусканием; взрослый мужчина при таких же условиях почувствовал бы эрекцию. То обстоятельство, что наш мальчуган продуцирует, как признак своего сексуального возбуждения, опорожнение кишечника, нужно понимать как характерную черту его врожденной сексуальной конституции. Он сейчас же становится пассивным, проявляет больше склонности к отождествлению в последующем с женщиной, чем с мужчиной.

Он, как и всякий другой ребенок, пользуется при этом содержанием кишечника в его первом и первоначальном значении. Как представляет собой первый подарок, первую жертву нежности ребенка, часть собственного тела его, от которой он отказывается, но только в пользу любимого лица. Использование для того, чтобы поступить наперекор, как в нашем случае в 3*1/2* года по отношению к гувернантке, представляет собой только отрицательное превращение этого подарка. «Grumus merdae», которое воры оставляют на месте преступления, имеет, по-видимому, оба значения: насмешку и регрессивно выраженное возмещение. Всегда, когда достигнута более высокая ступень, прежнее может найти применение еще в отрицательно униженном смысле. Вытеснение находит себе выражение в противоположном.

На более поздней ступени развития кал получает значение ребенка. Ребенок ведь рождается через задний проход как испражнение. Значение кала, как подарка, легко допускает это превращение. В обычном разговоре ребенок называется «подарком»; часто о женщине говорят, что она «подарила» ребенка мужу, но в бессознательном вполне правильно принимается во внимание и другая сторона отношений, т. е. что женщина «получает» ребенка в подарок от мужчины.

Значение кала, как денег, ответвляется в другом направлении от его значения, как подарка.

Раннее покрывающее воспоминание нашего больного о случившемся с ним первом

припадке гнева, явившемся результатом того, что он к рождеству получил недостаточно много подарков, разоблачает теперь свой более глубокий смысл. Ему недоставало сексуального удовлетворения, которое он понимал как анальное. Его сексуальное исследование до сновидения уже подготовило его к этому, а во время процесса образования сновидения он понял, что сексуальный акт разрешает загадку происхождения маленьких детей. Еще до сновидения он не переносил маленьких детей. Однажды он нашел маленькую, еще голую птичку, выпавшую из гнезда, принял ее за маленького человечка и испугался его. Анализ доказал, что все те маленькие животные, гусеницы, насекомые, на которых он был так зол, имеют для него значение маленьких детей. Его отношения к старшей сестре дали ему повод много раздумывать над взаимоотношениями между старшими и младшими детьми. Когда ему однажды няня сказала, что мать его так сильно любит, потому что он младший, то у него явился вполне понятный мотив желать, чтобы за ним не последовал еще младший ребенок. Под влиянием сновидения, воспроизведшего перед ним общение родителей, у него снова ожил страх перед этим младшим.

Нам нужно поэтому к известным уже сексуальным течениям прибавить еще новое, которое, как и другие, происходит из воспроизведенной им в сновидении «первичной сцены». В отождествлении своем с женщиной (с матерью) он готов подарить отцу ребенка и ревнует к матери, которая это уже сделала и, быть может, снова сделает.

Обходным путем через общий результат значения подарка деньги могут приобрести значение ребенка и в таком виде могут стать выражением женского (гомосексуального) удовлетворения. Этот процесс совершился у нашего пациента, когда однажды – в то время брат и сестра находились в немецком санатории – он увидел, как отец дал сестре деньги в виде двух бумажек большого достоинства. В своей фантазии он всегда подозревал отца в близости с сестрой. Тут в нем проснулась ревность, он бросился на сестру, когда они остались одни, и с такой настойчивостью и с такими упреками стал требовать свою долю в деньгах, что сестра, плача, бросила ему все. Его рассердила не только реальная стоимость денег, а еще гораздо больше ребенок, анально-сексуальное удовлетворение от отца. В этом отношении он мог утешиться, когда – при жизни отца – умерла сестра. Его возмутительная мысль при известии о ее смерти означала только: теперь я единственный ребенок, теперь отец должен любить меня одного. Но гомосексуальная подоплека этого безусловно доступного сознанию соображения была так невыносима, что его замаскирование в виде низменной жадности оказалось возможным как большое облегчение.

То же самое было, когда, после смерти отца, он делал матери те несправедливые упреки, что она его хочет обмануть в денежном отношении, что она больше любит деньги, чем его. Старая ревность, что она любила еще другого ребенка кроме него, что после него она желала иметь еще другого ребенка, вырывала у него обвинение, беспочвенность которого он сам сознавал.

Благодаря анализу значения кала нам становится теперь ясным, что навязчивые мысли, которые должны были привести бога в связь с калом, имеют еще другое значение, кроме оскорбления, которое он в них сознавал. Это были настоящие компромиссные образования, в которых нежное преданное течение принимает такое же участие, как враждебное и оскорбительное. «Бог-кал» было, вероятно, сокращением приглашения, которое приходится слышать и в несокращенной форме. «Испражняться на бога», «испражняться богу» – означает

также подарить ему ребенка, получить от него в подарок ребенка. Старое отрицательно-унизительное значение подарка в навязчивых словах соединено с более поздним, развившимся из него значением ребенка. В последнем значении находит себе выражение женская нежность, готовность отказаться от мужественности, если за это получаешь любовь от женщины. Таким образом, это – то душевное движение против бога, которое недвусмысленными словами выражено в бредовой системе параноического президента сената Шребера.

Когда я позже сообщу о последнем разрешении симптома у моего пациента, то можно будет еще раз показать, что нарушение кишечника служило гомосексуальному течению и выражало женскую установку к отцу. Новое значение кала должно открыть нам путь к описанию кастрационного комплекса.

Раздражая эрогенную слизистую оболочку кишечника, твердая каловая масса приобретает для него роль активного органа, действует так, как пенис на слизистую оболочку вагины, и становится как бы предшественником пениса в эпоху клоаки. Отдача кала в пользу (из любви) какого-нибудь другого лица в свое время становится прообразом кастрации; это первый случай отказа от части собственного тела, чтобы приобрести милость другого любимого человека. Обычно нарцистическая любовь к своему пенису не лишена известного притока и со стороны анальной эротики. Кал, ребенок, пенис образуют, таким образом, нечто единое, бессознательное понятие – sit venia verbo – отделенное от тела «маленького». По этим соединительным путям могут произойти сдвиги и усиления привязанности либидо, имеющие значение для патологии и открытые анализом.

Первоначальное отношение нашего пациента к проблеме кастрации нам уже известно. Он отрицал кастрацию и остался на точке зрения общения через задний проход. Если я сказал, что он отрицал ее, то главное значение этого выражения состоит в том, что он ничего не хотел о ней знать в смысле вытеснения. Таким образом, в существовании ее не имело места, собственно, никакое суждение, но было так, будто бы кастрации вовсе не существовало. Однако эта установка не могла быть окончательной, не оставалась даже в течение всех лет его детского невроза. Позже имеются веские доказательства того, что он признавал кастрацию как факт. Он и в этом пункте ведет себя так, как это было показательно для его существа, что, разумеется, так необыкновенно затрудняет нам описание и понимание его. Он сначала противился, а потом уступил, но одна реакция не прекратила другую. В конце концов, у него одновременно имелись два противоположных течения, из которых одно пугалось кастрации, а другое готово было принять ее и утешиться женственностью, как заменой. Третье, самое старое и глубокое, которое просто отрицало кастрацию, причем вопрос о реальности ее еще не возникал, было, несомненно, еще также жизненно. В другом месте я рассказал галлюцинацию этого же пациента из пятого года жизни, к которой я хочу присоединить небольшой комментарий.

«Когда мне было 5 лет, я играл в саду возле няни и резал перочинным ножом кору одного из тех ореховых деревьев, которые играли роль. в моем сновидении Вдруг я заметил с невыразимым ужасом, что так перерезал себе мизинец (правой или левой руки), что он остался висеть на коже. Я не чувствовал боли, а только сильный страх.

Я не решался сказать об этом находящейся в нескольких шагах няне, а опустился на ближайшую скамью и остался сидеть, неспособный бросить еще взгляд на палец. Наконец, я успокоился, посмотрел на палец, и оказалось, что он был совершенно невредим».

Нам известно, что в 4*1/2* года, после знакомства со священной историей, у него началась интенсивная работа мысли, которая закончилась навязчивой набожностью. Мы можем поэтому предположить, что эта галлюцинация случилась в то время, когда он решился признать реальность кастрации, и что она, может быть, отмечает именно этот шаг. И маленькая корректура пациента тоже представляет некоторый интерес. Если он галлюцинировал то же жуткое переживание, о котором Тассо рассказывает в «Освобожденном Иерусалиме» о своем герое Танкреде, то имеет свое оправдание и толкование, что и для моего маленького пациента дерево означало женщину. Он играл, следовательно, при этом роль отца и привел знакомое ему кровотечение матери в связь с открытой им кастрацией женщины, «раной».

Поводом к галлюцинации про отрезанный палец послужил, как он позже сообщил, рассказ о том, что у одной родственницы, которая родилась с шестью пальцами, этот лишний палец был сейчас же отрублен топором. У женщин, следовательно, не было пениса потому, что при рождении его у них отрезали. Таким путем он принял во время невроза навязчивости то, что знал уже во время процесса образования сновидения и что тогда отверг посредством вытеснения. Также и ритуальное обрезание Христа, как вообще евреев, не могло при чтении священной истории и разговорах о ней остаться ему неизвестным.

Не подлежит никакому сомнению, что к тому времени отец стал для него тем страшилищем, со стороны которого ему угрожает кастрация – от жестокого бога, с которым он тогда боролся, который заставляет людей провиниться, чтобы затем за это их наказывать, который приносит в жертву своего сына и сынов человечества и который отразился на характере отца, которого он, с другой стороны, старался защитить против этого бога. Мальчику предстояло тут выполнить филогенетическую схему, и он осуществил это, хотя его личные переживания этому не соответствовали. Угрозы кастрацией или намеки на нее, с которыми он сталкивался, исходили от женщин, но это не могло надолго задержать конечный результат. В конце концов, все же отец стал тем лицом, со стороны которого он боялся кастрации. В этом пункте наследственность одержала победу над случайным переживанием; в доисторическую эпоху человечества, несомненно, отец совершал кастрацию в наказание, а затем уменьшал его до обрезания. Чем дальше он в процессе невроза навязчивости продвигался по пути вытеснения чувственности, тем естественней было бы для него приписывать подобные злостные намерения отцу, настоящему представителю чувственных проявлений.

Отождествление отца с кастратором приобрело громадное значение, став источником острой, усилившейся до желания смерти бессознательной враждебности к нему и чувства вины, как реакции на эту враждебность. Но пока он вел себя нормально, т. е. как всякий невротик, находящийся во власти комплекса Эдипа. Замечательно, что и в этом отношении у него было противоположное течение, в котором отец был кастрированным и, как таковой, вызывал у него сострадание.

При анализе церемониала дыхания в присутствии калек, нищих и т. д. я показал, что и этот симптом относился к отцу, который вызвал в нем сострадание при посещении им лечебницы. Анализ дал возможность проследить эту нить еще дальше. В очень раннем возрасте, вероятно, еще до соблазна (3*1/4* года), в имении был бедный поденщик, который носил в дом воду; он не мог говорить, будто потому, что ему отрезали язык. Вероятно, он был глухонемой. Ребенок очень его любил и жалел от всего сердца. Когда несчастный умер, он искал его на небе. Это был

первый калека, вызвавший в нем жалость; судя по общей связи и порядку в анализе, он был, несомненно, заместителем отца.

Анализ открыл в связи с этим калекой воспоминания о других симпатичных слугах, о которых он подчеркнул, что они были болезненны или евреи (обрезание!). И лакей, который помогал чистить его при его несчастьи в 4*1/2* года, был евреем, чахоточным и вызывал в нем сострадание. Все эти лица относятся ко времени до посещения отца в санатории, т. е. до образования симптома, который посредством выдыхания не должен был допустить отождествления с внушающим жалость. Тут анализ в связи со сновидением снова повернул к самому раннему периоду и побудил его к утверждению, что при коитусе в «первичной сцене» он наблюдал исчезновение пениса, пожалел по этому поводу отца и радовался появлению вновь органа, который считал потерянным. Итак, новое чувство, опять-таки исходящее из этой сцены. Нарцистическое происхождение сострадания, за которое говорит само слово, здесь вполне очевидно.

VIII. Дополнения из самого раннего детства. Разрешение

Во многих анализах бывает так, что при приближении к концу вдруг всплывает новый материал, остававшийся до того тщательно скрытым. Или же однажды делается мельком незначительное замечание равнодушным тоном, как будто это нечто совершенно излишнее, к этому в другой раз присоединяется что-то новое, что уже заставляет врача насторожиться, и, наконец, в том обрывке воспоминаний, которому не придавалось значения, открывается ключ к самым важным тайнам, окутывавшим невроз больного.

Еще вначале мой пациент рассказал о том времени, когда его испорченность стала переходить в страх. Он преследовал прекрасную большую бабочку с желтыми полосками, большие крылья которой заканчивались острыми углами, т. е. адмирала. Вдруг, когда он увидел, как бабочка опустилась на цветок, им овладел ужасный страх перед насекомым, и он с криком убежал.

Время от времени он возвращался в анализе к этому воспоминанию, требовавшему объяснения, которое долго не давалось. Заранее можно было предположить, что подобная деталь сохранилась в воспоминании не сама по себе, а занимала место более важного, как покрывающее воспоминание, с чем она была каким-либо образом связана. Однажды он сказал, что это насекомое на его языке называется бабочка, старая бабушка; вообще, бабочки казались ему женщинами и девушками, а жуки или гусеницы – мальчиками. При той сцене страха должно было проснуться воспоминание о каком-нибудь женском существе. Не хочу умолчать, что тогда я предположил, как возможность, что желтые полосы адмирала напомнили ему такие же полосы на платье, которое носила женщина. Делаю это только для того, чтобы показать на примере, как обыкновенно бывают недостаточны комбинации врача для разрешения возникающих вопросов и как неверно взваливать ответственность за результаты анализа на фантазию врача и на внушение с его стороны. В связи с чем-то совершенно другим, много месяцев спустя, пациент заметил, что распускание и складывание крыльев бабочки, когда она опустилась, произвело на него самое неприятное впечатление. Это было так, как если женщина раздвигает ноги, и при этом получается фигура римского V – как известно, время, в которое еще в детские годы, но также и

теперь обыкновенно наступало у него пониженное настроение.

Подобная мысль мне никогда не пришла бы в голову, но ценность ее возрастала от соображения, что вскрытый ею ход ассоциаций носил чисто инфантильный характер. Внимание детей, как я часто замечал, привлекается гораздо больше движением, чем покоящимися формами, и часто на основании сходства движения у них являются такие ассоциации, которые взрослые упускают, не обращая на них внимания.

Затем маленькая проблема снова приостановилась. Я хочу еще указать на то основательное предположение, будто острые, палкообразные концы крыльев бабочки могли иметь значение генитальных символов.

Однажды очень робко и неясно всплыло у больного нечто вроде воспоминания о том, как очень рано, еще до няни, за детьми ходила девушка, которую он очень любил; у нее было то же имя, что у матери. Несомненно, что он отвечал на ее нежность. Итак, забытая первая любовь. Мы согласились оба на том, что, вероятно, произошло нечто, что потом приобрело большое значение.

Затем, в другой раз, он исправил свое воспоминание. Ее не могли звать так, как мать, это было с его стороны ошибкой, которая показывала, что в его воспоминаниях она слилась с матерью. Настоящее ее имя припомнилось ему косвенным путем. Вдруг он вспомнил о сарае в первом имении, в котором хранились собранные плоды, и об определенном сорте груш великолепного вкуса, больших с желтыми полосками на кожице. На его родном языке эти плоды называют груша, это и было ее имя.

Таким образом стало ясно, что за покрывающим воспоминанием о преследуемой бабочке скрывалось воспоминание об этой девушке. Но желтые полосы находились не на ее платье, а на груше. Но откуда же взялся страх, когда ожило воспоминание о ней? Возможна была следующая ближайшая нехитрая комбинация: у этой девушки он маленьким ребенком впервые увидел движения ног, которые и запомнил, как знак римского V, – движения, которые открыли доступ к гениталиям. Мы отказались от этой комбинации и ждали дальнейшего материала.

Скоро появилось воспоминание об одной сцене, неполное, но вполне определенное, поскольку оно сохранилось. Груша лежала на полу, возле нее стоял чан и метла из коротких прутьев; он был тут же, она дразнила или высмеивала его.

То, чего тут недоставало, легко было пополнить другими воспоминаниями. В первые месяцы лечения он рассказывал о навязчивой влюбленности в крестьянскую девушку, от которой заразился болезнью, послужившей поводом к последующему заболеванию. Странным образом он противился тогда требованию назвать имя девушки. То был совсем единичный случай сопротивления; обычно он безусловно подчинялся основному аналитическому правилу. Но он утверждал, что должен очень стыдиться, произнося это имя, потому что оно совсем мужицкое. Знатные девушки никогда не носили бы такого имени. Имя, которое, наконец, стало известным, было Матрена. Оно звучало материнski. Стыд был, очевидно, не по адресу. Самого факта, что это увлечение относилось к простой девушке, он не стыдился, а только ее имени. Если это приключение с Матреной могло иметь нечто общее со сценой с Грушей, то стыд нужно перенести на это раннее происшествие.

В другой раз он рассказал, что, когда он узнал о жизни Яна Гуса, он был очень потрясен этой историей и его внимание было приковано к связкам хвороста, которые тащили на его

костер. Симпатии к Гусу будят вполне определенное подозрение; я часто находил их у молодых пациентов, и мне всегда удавалось объяснить их одинаковым образом. Один из них сделал даже драматическую обработку судьбы Гуса. Он начал писать драму в тот день, когда лишился объекта своей тайной влюбленности; Гус погиб от огня, и, как другие, отвечающие такому же условию, он становится героем бывших энуретиков (enuresis – недержание мочи). Вязки хвороста на костер Гуса мой пациент сам поставил в связь с веником (связка прутьев) молодой девушки.

Этот материал легко подошел к тому, чтобы восполнить изъян воспоминаний в сцене с Грушей. Глядя, как девушка моет пол, он помочился в комнате, и после этого она в шутку погрозила ему кастрацией.

Не знаю, догадываются ли уже читатели, почему я так подробно сообщаю этот эпизод из раннего детства. Он образует важную связь между «первичной сценой» и более поздней навязчивой влюбленностью, сыгравшей такую решающую роль в его судьбе, и, кроме того, вводит еще условие любви, объясняющее эту навязчивость.

Когда он увидел, как девушка лежала на полу, занятая мытьем этого пола, стоя на коленях с выдающимися вперед задними частями, а спиной – в горизонтальном направлении, он узнал в ней положение, которое мать занимала в сцене коитуса. Она стала его матерью, им овладело сексуальное возбуждение, вследствие того что в его воспоминании ожила та картина, и он поступил по отношению к девушке, как отец, поступок которого он тогда мог понять, как мочеиспускание. Мочеиспускание на пол у ребенка было в сущности попыткой к соблазну, и девушка ответила угрозой кастрации, как будто бы она его поняла.

Навязчивость, исходящая из «первичной сцены», перенеслась на эту сцену с Грушей и продолжала свое действие. Но условие любви претерпело изменение, указывающее на влияние второй сцены. С положения женщины оно перенеслось на ее деятельность в таком положении. Это стало очевидным, например, в переживании с Матреной. Он гулял по деревне, принадлежащей (более позднему) имению, и на берегу пруда увидел крестьянскую девушку, стоявшую на коленях и занятую мытьем белья в пруду. Он моментально и с непреодолимой силой влюбился в прачку, хотя и не видал еще ее лица. Благодаря своему положению и работе она заняла для него место Груши. Мы понимаем теперь, почему стыд, относившийся к содержанию в сцене с Грушей, связался с именем Матрены.

Навязчивое влияние сцены с Грушей проявилось еще яснее в другом припадке влюбленности за несколько лет до этого. Молодая крестьянская девушка, исполнявшая в доме обязанности служанки, нравилась ему уже давно, но ему удавалось все же сдерживать себя и не приближаться к ней. Однажды он был охвачен влюбленностью, когда застал ее одну в комнате. Он нашел ее лежащей на полу, занятой мытьем пола, а возле нее находились ведро и метла, т. е. совсем так, как та девушка в детстве.

Даже окончательный выбор объекта, получивший такое большое значение в его жизни, благодаря подробностям обстоятельств, которых здесь нельзя привести, оказывается в зависимости от таких же условий любви проявлением навязчивости, которая, начиная с «первичной сцены» и через сцену с Грушей, владела выбором его объекта. Прежде я заметил, что признаю у пациента стремление к унижению объекта его любви. Это объясняется реакцией на давление от превосходства сестры над ним. Но я тогда обещал показать, что не один только этот мотив, самостоятельный по природе своей, имел решающее значение, а он покрывал более

глубоко детерминированные, чисто эротические мотивы. Эту мотивировку проявило воспоминание о моющей пол девушке, стоящей по своему положению ниже его. Все позднейшие объекты любви были заместительницами этой одной, которая, в свою очередь, сама была, благодаря случайному положению, первой заместительницей матери. В первой мысли, пришедшей пациенту в голову по вопросу о страхе перед бабочкой, потом уже легко узнать отдаленный намек на первичную сцену. Отношение сцены с Грушей к угрозе кастрацией он подтвердил особенно содержательным сновидением, которое он сумел сам истолковать. Он сказал, что ему снилось, будто какой-то человек отрывает крылья espe. – Espe? Я должен спросить, что вы этим хотите сказать? – Насекомое с желтыми полосками на теле, которое кусает (это, вероятно, намек на Грушу, грушу с желтыми полосками). – Wespe – оса, хотите вы сказать? – поправил я. – Разве это называется wespe? Я, право, думал, что это называется espe (он, как и многие другие, пользуется тем, что говорит на чужом ему языке, чтобы скрыть свои симптоматические действия). – Но espe ведь это же я сам (S. P. – инициалы его имени. Espe, разумеется, искалеченное wespe. Сон ясен: он мстит Груше за ее угрозу кастрацией).

Поступок ребенка в 2*1/2* года в сцене с Грушей представляет собой первое известное нам действие «первичной сцены»; в этом поступке он является копией отца, и мы можем в нем узнать тенденцию в том направлении, которое позже заслужит название мужского. Соблазн вынуждает его на пассивность, которая тоже уже была подготовлена его положением зрителя при общении родителей.

Из истории лечения я должен еще подчеркнуть, что получилось впечатление, будто с отдалением сцены с Грушей, первым переживанием, которое он, действительно, сумел вспомнить и вспомнил без моих предположений и моей помощи, разрешилась задача лечения. С этого момента не было больше сопротивления, оставалось еще только собирать и составлять весь добытый материал. Старая теория травм, построенная на впечатлениях из психоаналитической терапии, вдруг опять получила свое значение. Из критического интереса я еще раз сделал попытку навязать пациенту другое понимание его истории, более приемлемое для трезвого рассудка. В сцене с Грушей сомневаться не приходится, но сама по себе она не имеет никакого значения; лишь впоследствии она усилилась благодаря регрессии, исходящей из событий, связанных с выбором его объекта, который, вследствие тенденции унижения, перенесся с сестры на прислугу. Наблюдение же коитуса представляет его фантазию, явившуюся в более поздние годы; историческим ядром ее могли быть какие-нибудь наблюдения или собственные переживания – хотя бы наблюдение какого-нибудь самого невинного вливания. Некоторые читатели, может быть, подумают, что, только сделав это предположение, я приблизился к пониманию данного случая. Пациент же посмотрел на меня, не понимая, в чем дело, когда я изложил ему этот взгляд, и никогда больше на него не реагировал. Собственные мои доказательства против такой рационализации я изложил выше.

Но сцена с Грушей содержит не только условия выбора объекта, имеющие решающее значение для всей жизни пациента, но остерегает нас от ошибки переоценить значение тенденции унизить женщину. Она может также оправдать меня в моем прежнем отказе от точки зрения, объясняющей «первичную сцену» как несомненный результат наблюдения над животными незадолго до сновидения. Она возникла сама в воспоминании больного, без моего содействия. Объясняющийся ею страх перед бабочкой в желтых полосках показывает, что

содержание ее имело большое значение или что была возможность придать впоследствии ее содержанию такое значение. Все то значительное, чего не было в воспоминаниях, можно было с точностью пополнить благодаря мыслям, сопровождавшим эти воспоминания, и связанным с ними выводом. Тогда оказалось, что страх перед бабочкой совершенно аналогичен страху перед волком; он в обоих случаях был страхом перед кастрацией, относившимся сперва к лицам, грозившим кастрацией, и перенесенным затем на других, с которыми он в соответствии с филогенетическим прообразом должен был связаться. Сцена с Грушей произошла в 2*1/2* года, а страшное переживание с бабочкой – наверное, после страшного сновидения. Легко было понять, что возникшее позже понимание возможности кастрации вызвало впоследствии уже страх в сцене с Грушей; но сама эта сцена не содержала ничего отталкивающего или невероятного, а скорее банальные детали, в которых нет никакого основания сомневаться. Ничто не наводит на мысль объяснить ее фантазией ребенка, да это и вряд ли возможно.

Возникает вопрос, вправе ли мы видеть сексуальное возбуждение в мочеиспускании стоящего мальчика в то время, когда стоящая на коленях девушка моет пол? В таком случае это возбуждение указывало бы на влияние прежнего впечатления, которое могло в такой же мере исходить от действительно имевшей место «первичной сцены», как и от наблюдения над животными, сделанного до 2*1/2* —летнего возраста. Или все это положение было совершенно невинным, мочеиспускание ребенка чисто случайным, и вся эта сцена была сексуализирована только впоследствии, в воспоминаниях, после того как открыто было значение подобных положений?

Тут я не рискую дать решающий ответ. Должен сказать, что считаю большой заслугой психоанализа уже самую постановку такого вопроса. Но не могу отрицать, что сцена с Грушей, роль, которую ей пришлось сыграть в анализе, и влияние ее в жизни легче и полнее всего объясняются, если считать в данном случае «первичную сцену» реальной, хотя в других случаях она может быть фантазией. В сущности, ничего невозможного в ней нет; допущение ее реальности очень хорошо вяжется с возбуждающим влиянием наблюдения над животными, на которое указывают овчарки в картине сновидения.

От этого неудовлетворительного заключения перехожу к разбору вопроса, разрешить который я пытался в «Лекциях по введению в психоанализ». Я сам хотел бы знать, была ли «первичная сцена» у моего пациента фантазией или реальным переживанием, но, принимая во внимание другие подобные случаи, приходится сказать, что, в сущности, вовсе не важно разрешить этот вопрос. Сцены наблюдения родительского сексуального общения, соблазна в детстве, угрозы кастрацией представляют собой несомненно унаследованное психическое достояние, филогенетическое наследство, но могут также быть приобретением в результате личного переживания. У моего пациента соблазн, исходивший от старшей сестры, был неоспоримой реальностью; почему же не принять то же самое для наблюдения родительского коитуса?

В первичной истории невроза мы видим только то, что ребенок прибегает к этому филогенетическому переживанию в том случае, когда его личного переживания недостаточно. Изъян в индивидуальной истине он заполняет исторической истиной, на место собственного опыта ставит опыт предков. В признании этого филогенетического наследства я вполне согласен с Юнгом («Психология бессознательных процессов», 1917 г., труд, который не мог уже оказать

влияния на мои «Лекции»); но я считаю неправильным прибегать для объяснения к филогенезу, не исчерпав предварительно всех возможностей онтогенеза; я не понимаю, почему упрямо оспаривают у самого раннего детского периода то значение, которое охотно признают за самой ранней эпохой предков; не могу не признать, что филогенетические мотивы и продукции сами нуждаются в объяснении, которое могут им дать в ряде случаев переживания индивидуального детства; и, в конце концов, я не удивляюсь, если те же условия, сохранившись, органически создают у каждого в отдельности то, что эти условия однажды в отдаленные времена создали и передали по наследству, как предрасположение к личному приобретению.

К промежутку времени между «первичной сценой» и соблазном (1*1/2* – 31/4 года) нужно отнести еще и немого водовоза, который был для ребенка заместителем отца подобно тому, как Груша была заместительницей матери. Полагаю, что неправильно говорить тут о тенденции к унижению, хотя оба родителя оказываются замененными прислугой. Ребенок не обращает внимания на социальные различия, которые имеют для него еще мало значения, и ставит в один ряд с родителями и незначительных по своему положению людей, если они только проявляют к нему такую же любовь, как родители. Так же мало значения имеет эта тенденция при замене родителей животными, низкая оценка которых ребенку совершенно чужда. Независимо от такого унижения, для замены родителей берутся также дяди и тети, как это доказывают неоднократные воспоминания и у моего пациента.

К этому же времени относятся смутные сведения о фазе, в которой он хотел есть только сладости, так что опасались за его жизнь. Ему рассказали про дядю, который также отказывался от еды и умер молодым от истощения. Он слышал еще, что в возрасте трех месяцев он был так тяжело болен (воспалением легких?), что для него уже приготовили саван. Удалось его запугать, и он опять начал есть; в старшем детском возрасте он даже преувеличил эту обязанность как бы для того, чтобы защитить себя от угрожающей смерти. Страх смерти, который тогда в нем возбудили для его защиты, позже снова проявился, когда мать предупреждала его против опасности дизентерии; еще позже он спровоцировал припадок невроза навязчивости. В другом месте мы постараемся исследовать происхождение и значение последнего.

Нарушению в принятии пищи я хотел бы придать значение самого первого невротического заболевания, так что нарушение в принятии пищи, фобия волка, навязчивая набожность дают совершенный ряд детских заболеваний, которые повлекли за собой предрасположение к невротической болезни в годы после наступления половой зрелости. Мне возразят, что не многие дети не подвергаются подобным нарушениям вроде временного нежелания есть или фобии животных. Но этому аргументу я очень рад. Я готов утверждать, что всякий невроз взрослого зиждется на его детском неврозе, который, однако, не всегда достаточно интенсивен, чтобы его заметили и узнали в нем болезнь. Теоретическое значение инфантильного невроза для понимания заболеваний, которые мы считаем неврозами и хотим объяснить только влияниями более позднего периода жизни, только увеличивается от такого возражения. Если бы наш пациент в придачу к своему нарушению в принятии пищи и фобии животного не получил еще навязчивой набожности, то история его детства мало чем отличалась бы от истории других детей и мы были бы беднее ценными материалами, которые уберегли бы нас от легко допускаемых ошибок.

Анализ был бы неудовлетворителен, если бы не привел к пониманию тех жалоб, которыми пациент определял свою болезнь. Они гласили, что мир как бы окутан для него завесой, и

психоаналитический опыт отрицает возможность того, что эти слова не имеют значения и что формулировка эта случайна. Эта завеса разрывалась – удивительным образом – только в таком положении, когда после клизмы каловые массы проходили через задний проход. Тогда он снова чувствовал себя хорошо, и на короткое время мир казался ему ясным. Выяснение значения этой «завесы» подвигалось с такими же трудностями, как и выяснение страха перед бабочкой. Последний не ограничивался одной только завесой, она рассеивалась, превращаясь в чувство сумеречности, в другие неуловимые вещи.

Только незадолго до окончания лечения он вспомнил, что слышал, будто родился на свет «в сорочке». Поэтому считал себя всегда особым счастливчиком, с которым не может произойти ничего плохого. Эта уверенность покинула его только тогда, когда он вынужден был согласиться с тем, что гонорейное заболевание приносит тяжелый вред его здоровью. Этот удар его нарциссизму сломил его. Мы скажем, что он повторил этим механизм, который однажды уже сыграл у него роль. И фобия волка возникла у него тогда, когда он столкнулся с фактом возможности кастрации, а гонорею он, очевидно, поставил в один ряд с кастрацией.

Счастливая «сорочка», следовательно, и есть та завеса, которая укрывает его от мира и мир от него. Его жалоба представляет собой, собственно говоря, замаскированную фантазию-желание, она рисует его снова в утробе матери; правда, в этой фантазии осуществляется бегство от мира. Ее можно формулировать: я так несчастен в жизни, я должен снова вернуться в утробу матери.

Какое значение имеет то, что эта символическая, при рождении реальная, завеса разрывается в момент испражнения после клизмы, что при таком условии его покидает болезнь? Общая связь дает нам возможность ответить: когда разрывается завеса рождения, он начинает видеть мир и снова рождается. Стул представляет собой ребенка, каким он вторично является для счастливой жизни. Это и есть фантазия возрождения, на которую Юнг недавно обратил внимание и которой он отвел такое господствующее положение в желаниях невротика.

Было бы прекрасно, если бы все кончалось на этом. Некоторые особенности ситуации и требования необходимой связи со специальной историей жизни заставляют нас продолжать толкование. Условия возрождения требуют, чтобы ему ставил клизму мужчина (этого мужчину уже позже он по необходимости заменил сам). Это может означать только то, что он отождествил себя с матерью, отца заменил этот мужчина, клизма повторяет акт совокупления, плодом которого является каловый ребенок – опять-таки он сам. Фантазия возрождения опять-таки тесно связана с условием сексуального удовлетворения мужчиной. Значение всего, следовательно, такое: только став в положение женщины, заменив мать с тем, чтобы получить удовлетворение от отца и родить ему ребенка, он освободится от своей болезни. Фантазия возрождения была здесь только исковерканным, подвергшимся цензуре переизданием гомосексуальной фантазии-желания.

Если ближе присмотримся, то должны будем заметить, что в этом условии своего выздоровления больной только воспроизводит ситуацию так называемой «первичной сцены»: тогда он хотел подменить собою мать; калового ребенка, как мы уже давно предположили раньше, он в той сцене воспроизвел сам. Он все еще фиксирован, как бы связан со сценой, ставшей решающей для его сексуальной жизни, возвращение которой в ту ночь сновидения положило начало его болезни. Разрыв завесы аналогичен открыванию глаз, распахнувшемуся

окну. «Первичная сцена» превратилась в условие выздоровления.

То, что изображается в жалобах, и то, что составляет исключение, можно легко соединить в одно целое, которое в таком случае открывает весь свой смысл. Он желает вернуться в материнское лоно, не просто для того, чтобы снова родиться, а чтобы отец застал его там при коитусе, дал ему удовлетворение и чтобы он родил отцу ребенка.

Быть рожденным отцом, как он это сначала думал, быть им сексуально удовлетворенным, подарить ему ребенка, отказавшись при этом от своей мужественности и выражаясь языком анальной эротики – этими желаниями замыкается круг фиксации на отце; в этом гомосексуальность нашла свое высшее и самое интимное выражение.

Я полагаю, что этот пример проливает свет на смысл и происхождение фантазии о пребывании в материнском лоне и возрождении его. Фантазия о пребывании в лоне, как и в нашем случае, произошла от привязанности к отцу. Является желание быть в лоне матери, чтобы заменить ее при коитусе, занять ее место у отца. Фантазия возрождения является, вероятно, всегда ослабленной фантазией, так сказать – эвфемизмом инцестуозного общения с матерью, анагогическим сокращением его, пользуясь выражением Зильберера. Возникает желание вернуться к положению, которое ребенок занимал в гениталиях матери, причем мужчина отождествляется с его пенисом, заменяет его собой. Тогда обе фантазии оказываются противоположностями, выражающими желание общения с отцом или матерью, в зависимости от мужской или женской установки данного лица. Не исключается возможность и того, что в жалобе и в условиях выздоровления нашего пациента объединены обе фантазии, т. е. оба инцестуозных желания.

Хочу сделать еще раз попытку перетолковать последние результаты анализа по образцу объяснений противников: пациент жалуется на свое бегство от мира в типичной фантазии о пребывании в утробе матери и видит свое исцеление только в типичном образе возрождения. Это последнее он выражает в анальных симптомах в соответствии с преобладающим у него предрасположением. По образцу анальной фантазии возрождения он создал себе детскую сцену, воспроизводящую его желание в архаически-символических выражениях. Затем его симптомы сплетаются так, как будто бы они исходили из такой «первичной сцены». Он должен был решиться на весь этот обратный путь, потому что натолкнулся на жизненные задачи, для разрешения которых он был слишком ленив, или потому что у него было полное основание относиться с недоверием к своей малоценности; он полагал, что таким способом он лучше всего защитит себя от унижения. Все это было бы хорошо и прекрасно, если бы несчастному в 4 года не приснился сон, с которого начался его невроз; сон, вызванный рассказами деда о портном и волке и толкование которого делает необходимым предположение о такой «первичной сцене». Об эти мелочные, но неопровержимые факты разбиваются, к сожалению, все те облегчения, которые нам хотят создать теории Юнга и Адлера. Настоящее положение вещей, как мне кажется, говорит, скорее, за то, что фантазия о возрождении происходит от «первичной сцены», чем наоборот, что «первичная сцена» является отражением фантазии возрождения. Может быть, можно также допустить, что тогда, в 4 года после рождения, пациент был еще слишком молод, чтобы уже желать себе возрождения. Но от этого последнего аргумента я должен отказаться.

IX. Выводы и проблемы

Не знаю, удалось ли читателю предлагаемого описания анализа составить себе ясную картину возникновения и развития болезни у моего пациента. Опасаюсь, что это скорее, не так. Но как ни мало я обычно защищаю искусство моего изложения, на этот раз я хотел бы сослаться на смягчающие обстоятельства. Передо мною стояла задача, за которую до того никто еще никогда не брался: ввести в описание такие ранние фазы и такие глубокие слои душевной жизни; и лучше уже разрешить плохо эту задачу, чем обратиться перед нею в бегство, которое, помимо всего, должно быть связано с известными опасностями для струсившего. Итак, лучше уже смело показать, что не останавливаешься и перед сознанием своей недостаточности.

Сам случай был не особенно благоприятен. Изучение ребенка сквозь призму сознания взрослого, что сделало возможным получить обилие сведений о детстве, должно было искупаться тем, что анализ был разорван на самые мелкие крохи; это и привело к соответствующему несовершенству его описания. Личные особенности, чуждый нашему пониманию национальный характер ставили большие трудности перед необходимостью вчувствоваться в личность больного. Пропасть между милой, идущей навстречу личностью больного, его острым интеллектом, благородным образом мыслей и совершенно неукротимыми порывами влечений сделала необходимой очень длительную подготовительную и воспитательную работу, благодаря которой еще больше пострадала ясность. Но сам пациент совершенно не виноват в том, что характер этого случая ставит самые трудные задачи перед описанием. В психологии взрослого нам счастливо удалось разделить душевные процессы на сознательные и бессознательные и описать их с достаточной ясностью. В отношении ребенка это различие почти недоступно нам. Часто не решаешься сам указать, что следовало бы считать сознательным, что – бессознательным. Психические процессы, которые стали господствующими и которые, судя по их позднейшему проявлению, должны быть отнесены к сознательным, все же не были осознаны ребенком. Легко понять, почему сознание не приобрело еще у ребенка всех характеризующих его признаков: оно находится в процессе развития и не обладает еще способностью превратиться в словесные представления. Обыкновенно мы всегда грешим тем, что путаем феномен, как восприятие в сознании, с принадлежностью его к какой-нибудь предполагаемой психической системе, которую мы должны были как-нибудь условно назвать, но которую мы также называем сознанием (система Bw); эта путаница безобидна при психологическом описании взрослого, но вводит в заблуждение при описании душевной жизни ребенка. Введение «предсознательного» тут тоже мало помогает, потому что предсознательное ребенка также мало совпадает с предсознательным взрослого. Приходится поэтому удовлетвориться тем, что сознаешь все темные стороны вопроса.

Само собой понятно, что случай, подобный описанному здесь, мог бы послужить поводом для дискуссии о всех результатах и проблемах психоанализа. Это была бы бесконечная и ничем не оправдываемая работа. Нужно сказать себе, что из одного случая всего не узнаешь, всего на нем не разрешишь, и удовлетвориться тем, что используешь его для того, что он всего яснее обнаруживает. Задача дать объяснения, стоящая перед психоанализом вообще, узко ограничена. Объяснить нужно бросающиеся в глаза симптомы, вскрывая их происхождение; психических механизмов и влечений, к которым приходишь таким путем, объяснять не приходится, их можно только описать. Для того, чтобы прийти к новым общим положениям из того, что

констатировано в отношении этих последних пунктов, нужно иметь много таких хорошо и глубоко анализированных случаев. Их нелегко получить, каждый в отдельности требует долголетней работы. В этой области возможен поэтому только очень медленный успех. Весьма естественно поэтому искушение «наскрести» у некоторого числа лиц на психической поверхности кое-какие данные, а остальное заменить общими соображениями, которые затем ставятся под защиту какого-нибудь философского направления. В пользу такого метода можно привести и практическую необходимость, но требования науки нельзя удовлетворить никаким суррогатом.

Я хочу попробовать набросать синтетический обзор сексуального развития моего пациента, при котором могу начать с самых ранних проявлений. Первое, что мы о нем слышим, это нарушение удовольствия от еды, в котором я, на основании опыта в других случаях, однако без какой бы то ни было категоричности в утверждении, склонен видеть результат какого-то процесса в сексуальной области. Первую явную сексуальную организацию я должен видеть в так называемой каннибальной, или оральной, фазе, в которой главную роль еще играет первоначальная связь сексуального возбуждения с влечением к пище. Непосредственных проявлений этой фазы ждать не приходится, но при наступлении каких-нибудь нарушений в этой области должны быть соответствующие проявления. Нарушение влечения к пище – которое может, разумеется, иметь еще и другие причины – обращает наше внимание на то, что организму не удалось справиться с сексуальным возбуждением. Сексуальной целью этой фазы мог бы быть только каннибализм, пожирание; у нашего пациента это проявляется как регрессия в более высокой ступени в виде страха быть съеденным волком. Известно, что в гораздо более старшем возрасте, у девушек во время наступления половой зрелости или вскоре после этого, встречается невроз, выражающий отрицание сексуальности посредством анорексии; ее можно привести в связь с этой оральной фазой сексуальной жизни. На высоте пароксизма влюбленности («я мог бы тебя съесть от любви») и в ласковом общении с маленькими детьми, причем взрослый сам ведет себя как ребенок, опять появляется любовная цель оральной организации. В другом месте я высказал предположение, что у отца моего пациента была эта привычка «ласковой ругани», что он играл с ребенком в волка или собаку и в шутку угрожал ему, что сожрет его. Пациент подтвердил это предположение своим странным поведением в перенесении. Как только он, отступая перед трудностями лечения, возвращался к «перенесению», он угрожал тем, что съест, сожрет, а позже всевозможными другими истязаниями, что было все только выражением нежности.

В разговорном языке сохранился отпечаток этой оральной сексуальной фазы: говорят об «аппетитном» любовном объекте, возлюбленную называют «сладкой». Мы вспоминаем, что наш маленький пациент хотел есть только сладкое. Сладости, конфеты в сновидении обыкновенно занимают место ласк, сексуального удовлетворения.

По-видимому, к этой же фазе относится страх (в случае заболеваний, разумеется), который проявляется как страх за жизнь и может привязаться ко всему, что ребенку покажется для этого подходящим. У нашего пациента этот страх использовали для того, чтобы побудить ребенка преодолеть его нежелание есть и даже для сверхкомпенсации этого нежелания. Оставаясь на почве предположения, о котором столько было речи, и помня, что наблюдение над коитусом, которое оказало на будущее его во многих отношениях огромное влияние, приходится на возраст

в 1*1/2* года, – несомненно раньше, чем время наступления затруднений с едой, – мы можем набрести на мысль о возможных источниках этого нарушения в принятии пищи. Может быть, позволительно допустить, что это наблюдение ускорило процессы полового созревания и этим оказало непосредственные, хотя и незаметные влияния.

Мне, разумеется, также известно, что симптоматику этого периода, страх перед волком, нарушение в принятии пищи можно объяснить проще, не принимая во внимание сексуальность и прегенитальную ступень ее организации. Кто охотно игнорирует признаки невротика и связи явлений, предпочтет это другое объяснение, я не смогу помешать ему в этом. Об этих зачатках сексуальной жизни трудно узнать что-нибудь убедительное иначе, чем указанным окольным путем.

Сцена с Грушей (в 2*1/2* года) показывает нам ребенка вначале развития, которое должно быть признано нормальным, за исключением, может быть, некоторой преждевременности: отождествление с отцом, мочевая эротика как замена мужественности. Все развитие находится под влиянием «первичной сцены». Отождествление с отцом мы до сих пор понимали, как нарцистическое, но, принимая во внимание содержание «первичной сцены», мы не можем отрицать, что оно уже соответствует ступени генитальной организации. Мужской орган начал играть свою роль и под влиянием соблазна со стороны сестры продолжает играть эту роль.

Однако получается впечатление, будто соблазн не только способствует развитию, а в гораздо большей степени нарушает его и отклоняет. Он создает пассивную сексуальную цель, которая, по существу, несовместима с активностью мужских гениталий. При первом же внешнем препятствии, при намеке няни на кастрацию (в 3*1/4* года), робкая еще генитальная организация рушится и регрессирует на предшествовавшую ей ступень садистски-анальной организации, которая в противном случае была бы, может быть, пройдена при таких же легких признаках, как у других детей.

В садистски-анальной организации легко узнать дальнейшее развитие оральной. Насильственная мускульная активность, проявляемая над объектом, которой отличается садистски-анальная организация, находит себе место, как подготовительный акт для пожирания, которое в таком случае становится сексуальной целью. Этот подготовительный акт становится самостоятельной целью (при садистски-анальной организации). Новшество по сравнению с предыдущей ступенью состоит, по существу, в том, что воспринимающий пассивный орган, отделенный ото рта, развивается в анальной зоне. Здесь сами собой напрашиваются биологические параллели или взгляд на прегенитальные человеческие организации, как на остатки такого устройства, какое остается навсегда у некоторых классов животных. Так же характеризует эту ступень конституирование исследовательского влечения из его компонентов.

Анальная эротика не очень-то бросается в глаза. Кал под влиянием садизма обменял свое значение, как выражение нежности, на агрессивное. В превращении садизма в мазохизм принимает участие также и чувство вины, указывающее на процессы развития в других сферах помимо сексуальной.

Соблазн продолжает оказывать свое влияние, поддерживая пассивность сексуальной цели. Он превращает теперь садизм в большей части его в пассивную противоположность его, в мазохизм. Еще вопрос, можно ли всецело поставить ему в счет характер пассивности, так как реакция 1*1/2* —годовалого ребенка на увиденный коитус была уже преимущественно пассивной.

Заражение сексуальным возбуждением выразилось в испражнении, в котором, однако, необходимо различать и активную долю. Наряду с мазохизмом, господствующим в его сексуальных стремлениях и выражающимся в фантазиях, сохраняется и садизм, который проявляется по отношению к маленьким животным. Его сексуальные исследования начались после соблазна, по существу, посвящены двум проблемам (откуда являются дети и можно ли лишиться гениталий) и сплетаются с проявлениями его влечений. Эти же исследования направляют его садистские наклонности на маленьких зверей, как на представителей маленьких детей.

Наше описание дошло почти до четвертой годовщины его жизни, до момента, когда после сновидения начинается запоздалое влияние увиденного коитуса. Разыгрывающиеся теперь процессы мы не можем ни полностью понять, ни в достаточной мере описать. Оживление картины, ставшей теперь понятной благодаря подвинувшемуся интеллектуальному развитию, действует как свежее событие, но так же как и новая травма, как удар со стороны, аналогичный соблазну. Нарушенная генитальная организация сразу снова восстанавливается, но достигнутый в сновидениях успех не может быть сохранен. Процесс, который можно поставить в ряд только с вытеснением, ведет к отказу от нового и к замене его фобией.

Садистски-анальная организация сохраняется, таким образом, также и в наступившей теперь фазе фобии животных с той лишь разницей, что к ней примешиваются явления страха. Ребенок продолжает проявлять садистские и мазохистские влечения, но только реагирует страхом на некоторые части их; превращение садизма в противоположность его делает, вероятно, успехи в дальнейшем.

Из анализа кошмарного сновидения мы узнаем, что вытеснение связывается с признанием кастрации. Новое отрицается, потому что принятие его стоило бы пениса. Более тщательное соображение открывает приблизительно следующее: вытесненной оказывается гомосексуальная установка в генитальном смысле, образовавшаяся под влиянием нового знания. Но эта установка сохраняется в бессознательном, образовав изолированный глубокий слой. Двигателем этого вытеснения, по-видимому, является нарцистическая мужественность гениталий, вступающая в давно уже подготавливающийся конфликт с пассивностью гомосексуальной цели. Вытеснение является, таким образом, следствием мужественности.

Возникает искушение, исходя из этого положения, изменить часть психоаналитической теории. Кажется, что нащупываешь руками будто конфликт между мужскими и женскими устремлениями, т. е. бисексуальность, именно и ведет к вытеснению и образованию невроза. Однако такой взгляд не отличается полнотой. Из двух борющихся сексуальных течений одно приемлемо для Я, а другое оскорбляет нарцистический интерес; поэтому оно подпадает вытеснению. И в этом случае опять-таки Я создает вытеснение в пользу одного из сексуальных течений. В других случаях нет такого конфликта между мужественностью и женственностью; имеется только одно сексуальное устремление, которое добивается торжества, но неприемлемо для некоторых сил Я и поэтому устраняется. Гораздо чаще, чем конфликты в пределах самой сексуальности, встречаются другие, возникающие между сексуальностью и моральными тенденциями Я. Таков моральный конфликт в нашем случае. Подчеркивание бисексуальности, как мотива вытеснения, оказалось бы слишком узким; указание на конфликт между Я и сексуальным стремлением (либидо) покрывает все возможности.

Против учения о «мужском протесте», разработанного Адлером, можно возразить, что вытеснение никоим образом не становится всегда на сторону мужественности и относится к женственности. В большом количестве случаев именно мужественность подвергается вытеснению со стороны Я.

Правильная оценка вытеснения в нашем случае приводит к оспариванию того, что нарцистическая мужественность является единственным мотивом вытеснения.

Гомосексуальная установка, возникающая во время сновидения, так интенсивна, что Я маленького человека оказывается не в состоянии овладеть ею и защищается от нее посредством процесса вытеснения. С этой целью привлекается на помощь противоположная этой гомосексуальности нарцистическая мужественность гениталий. Только во избежание недоразумений необходимо указать, что все нарцистические душевные движения исходят из Я и остаются при нем. А вытеснения направлены против либидинозных привязанностей к объектам.

Обратимся от процесса вытеснения, с которым нам не удалось справиться до конца, к состоянию, создавшемуся при пробуждении после сновидения. Если бы действительно во время процесса сновидения мужественность победила гомосексуальность (женственность), то мы должны были бы найти господство активного сексуального устремления с выраженным мужским характером. Об этом нет речи, сущность сексуальной организации не изменилась, садистски-анальная фаза продолжает свое существование, она осталась господствующей. Победа мужественности проявляется только в том, что теперь в ответ на пассивные сексуальные цели господствующей организации (мазохистской, но не женской) является реакция страха. Нет победоносного мужского сексуального течения, существует только пассивное и сопротивление ему.

Могу себе представить, какие трудности представляет для читателя непривычное, но неизбежное разделение активно мужского и пассивно женского, и поэтому не стану избегать повторений. Состояние после сновидения можно описать следующим образом: сексуальные устремления расщепились, в бессознательном достигнута ступень генитальной организации и сконституирована очень интенсивная гомосексуальность; над этим имеется (возможно – в сознании) прежнее садистское и преимущественно мазохистское сексуальные течения, Я в общем изменило свое отношение к сексуальности, оно находится в состоянии отрицания сексуальности и со страхом отклоняет господствующие мазохистские цели, подобно тому как реагировало на более глубокие гомосексуальные цели тем, что образовало фобии. Результат сновидения состоял, следовательно, не столько в победе мужского течения, сколько в реакции против женского, пассивного. Было бы большой натянутостью желать приписывать этому течению характер мужественности. У Я нет никаких сексуальных устремлений, а только интерес к самосохранению и к удержанию своего нарциссизма.

Рассмотрим теперь фобию. Она возникла на уровне генитальной организации, показывает нам сравнительно простой механизм истерии страха. Я защищается путем развития страха от того, что оценивает как слишком большую опасность, от гомосексуального удовлетворения. Все же процесс вытеснения оставляет явный след. Объект, с которым связалась внушающая страх сексуальная цель, должен в сознании быть заменен другим. Сознается страх не перед отцом, а перед волком. Дело не ограничивается образованием фобии с одним только этим содержанием. Некоторое время спустя волка сменяет лев. С садистскими душевными движениями по

отношению к маленьким детям конкурирует фобия перед ними, как представителями соперников, возможных маленьких детей (у матери). Особенно интересно возникновение фобии бабочки. Оно как бы повторяет механизм, создавший в сновидении фобию волка. Случайный толчок оживляет старое переживание, сцену с Грушей, угроза кастрацией которой начинает действовать некоторое время спустя, между тем как эти угроза не оказала никакого действия тогда, когда была произнесена.

Можно сказать, что страх, принимающий участие в образовании этой формы, является кастрационным страхом.

Это мнение не противоречит взгляду, что страх произошел из вытеснения гомосексуального либидо. Обеими формулировками обозначают тот же процесс, что Я отнимает либидо у гомосексуального желания, и это либидо превращается в свободно витающий страх, который затем удается сконцентрировать на фобии. В первой формулировке был только отмечен также и мотив, которым руководствуется Я.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что это первое заболевание нашего пациента не исчерпывается одной только фобией (не принимая во внимание нарушение в принятии пищи), а должно быть понято, как настоящая истерия, состоящая кроме симптомов страха еще и из явлений конверсии. Часть гомосексуальных душевных движений сохраняется в болезненных явлениях, которыми захвачены органы; начиная с этого времени, а также и гораздо позже, кишечник ведет себя как истерически больной орган. Бессознательная, вытесненная гомосексуальность сконцентрировалась на функции кишечника. Именно эта часть истерии оказала нам самые ценные услуги впоследствии, при аналитическом разрешении заболевания.

Теперь у нас должно хватить мужества разобрать еще более сложные условия невроза навязчивости. Представим себе еще раз всю ситуацию: господствующее мазохистское и вытесненное гомосексуальное сексуальные течения, а с другой стороны – Я, захваченное истерическим отстранением обоих; какие процессы превращают это состояние в невроз навязчивости?

Превращение происходит не самопроизвольно, благодаря дальнейшему внутреннему развитию, а благодаря постороннему влиянию извне. Явное следствие его состоит в том, что стоявшее на первом месте отношение к отцу, которое до того находило себе выражение в фобии волка, выражается теперь в навязчивой набожности. Не могу не указать на то, что этот процесс у нашего пациента является прямым подтверждением взгляда, высказанного мною в «Тотем и табу» об отношении животного – тотема к божеству. Я склонился там в пользу того взгляда, что представление о божестве не является дальнейшим развитием тотема, а возникает независимо от него на смену ему из общего обоим корня. Тотем представляет собой первого заместителя отца, а бог – позднейшего, в котором отец снова приобретает свой человеческий образ. То же имеет место и у нашего больного. В фобии волка пациент проделывает тотемистическую ступень заместителя отца, ступень, которая затем обрывается и вследствие новых отношений между ним и отцом сменяется фазой религиозной набожности.

Влияние, произведшее это превращение, исходило из религиозного учения и священной истории, с которыми он познакомился при посредстве матери. Результаты соответствуют тому, чего добивалось воспитание. Садистски-мазохистская организация медленно приходит к концу, фобия волка быстро исчезает, вместо боязливого отрицания сексуальности наступает высшая ее

форма. Набожность становится господствующим фактором в жизни ребенка. Но все эти преодоления совершаются не без борьбы, признаком которой являются богохульственные мысли и вследствие которых утверждается навязчивое преувеличение религиозного церемониала.

Если не считать этих патологических феноменов, то можно сказать, что в этом случае религия совершила все то, для чего она вводится в воспитание. Она укротила сексуальные стремления ребенка, дав им возможность сублимироваться и остановиться на чем-нибудь твердо, уменьшила значение его семейных отношений и предотвратила угрожавшую ему изоляцию благодаря тому, что открыла для него связь с великой общностью людей. Дикий, запуганный ребенок стал социальным, нравственным и поддающимся воспитанию.

Главным двигателем религиозного влияния было отождествление с образом Христа, который стал ему особенно близок благодаря случайности дня его рождения. Здесь слишком большая любовь к отцу, сделавшая необходимым вытеснение, нашла, наконец, выход в идеальной сублимации. В образе Христа можно было любить отца, называвшегося теперь богом, с таким усердием, которое тщетно искало выхода по отношению к земному отцу. Пути, которыми можно было проявить эту любовь, были предуказаны религией; им чуждо чувство вины, которое нельзя отделить от индивидуальных любовных стремлений. Если таким образом самое глубокое, уже сраженное, как бессознательная гомосексуальность, сексуальное стремление могло еще быть дренировано, то поверхностное мазохистское стремление нашло себе несравненную сублимацию в сказании о муках Христа, который отдал себя в жертву на истязания по поручению и в честь своего божественного отца. Таким образом, благодаря смеси удовлетворения, сублимации и отвлечения от чувственного на чисто духовные процессы и открытию социальных отношений, какие она дает верующему, религия сделала свое дело у сбившегося с пути ребенка.

Его противодействие религии вначале имело три различных исходных пункта. Во-первых, это было отклонение всяких новшеств – чему примеры мы уже видели. Он защищал всякую однажды занятую позицию либидо в страхе перед потерей при отказе от нее и из недоверия к возможности найти полную замену ей в новой позиции. Это и есть та важная и фундаментальная психологическая особенность, которую я описал в трех статьях по теории сексуальности как способность к фиксации. Юнг хотел, под названием психической «инертности», сделать ее главной причиной всех неудач невротиков. Я думаю, что он неправ; она идет гораздо дальше и играет значительную роль также и в жизни ненервных людей. Легкая подвижность или неподвижность либидинозных, а также и другого рода привязанностей энергии составляет особую характерную черту, свойственную многим нормальным, и вместе с тем не у всех нервных она встречается; до сих пор эту черту не удалось привести в связь с другими особенностями психики, и она, как простое число, не делится ни на какие составные части. Нам известно только то, что свойство подвижности психических привязанностей энергии с возрастом заметно уменьшается. Оно составило для нас одно из показаний для установления границ возможности психоаналитического воздействия.

Но встречаются лица, у которых эта психическая пластичность сохраняется гораздо дольше обычного возраста, а у других она пропадает в очень раннем возрасте. Если последнее бывает у невротиков, то с огорчением открываешь, что при одинаковых, по-видимому, условиях у них не удается устранить таких изменений, с которыми у других удается легко справиться. Поэтому и

при превращении психических процессов приходится принимать во внимание понятие об энтропии, большая степень которой мешает исчезновению уже совершившегося.

Вторым пунктом для нападения был для него факт, что в основе самого религиозного учения нет одинакового отношения к богу-отцу, что оно проникнуто признаками амбивалентной установки, господствовавшей при возникновении этого учения. Эту амбивалентность он сразу почувствовал, благодаря большому развитию этой черты у него самого, и связал с ней ту острую критику, которая так поразила нас у ребенка в возрасте пяти лет. Но самое большое значение имел, несомненно, третий момент, влиянию которого мы должны приписать патологические последствия его борьбы против религии. Течение, которое стремилось к мужчине и должно было подвергнуться сублимированию при помощи религии, не было уже свободно, а частично отделено благодаря вытеснению, вследствие чего оно не могло быть сублимировано и осталось связанным со своей первоначальной сексуальной целью. Благодаря такой связи вытесненная часть стремилась проложить себе дорогу к сублимированной части или привлечь ее к себе. Первые размышления, касающиеся личности Христа, содержали уже вопрос о том, может ли возвышенный сын выполнить также и застрявшее в бессознательном сексуальное отношение к отцу. Отказ от этих стремлений не имел иных последствий, кроме появления как будто богохульственных навязчивых мыслей, в которых проявилась физическая нежность к богу в форме унижения его. Жестокая борьба против этих компромиссных образований должна была привести к навязчивому преувеличению всех действий, в которых находили выход, согласно религиозному предписанию, набожность и чистая любовь к богу. В конце концов победила религия, но ее основа, коренящаяся во влечениях, оказалась несравненно более сильной, чем устойчивость продуктов ее сублимирования. Как только жизнь дала ему нового заместителя отца, влияние которого направилось против религии, он отказался от нее и заменил ее другим. Вспомним еще интересное осложнение, а именно, что набожность развилась под влиянием женщин (мать, няня), между тем как мужское влияние способствовало освобождению от нее.

Развитие невроза навязчивости на почве анально-садистской сексуальной организации в общем подтверждает то, что в другом месте я говорил «о предрасположении к неврозу навязчивости». Но предшествующая тяжелая истерия делает наш случай в этом отношении неясным. Я хочу закончить обзор сексуального развития нашего больного коротким освещением дальнейших его изменений. С наступлением половой зрелости у него появилась сильная чувственность, которую следует считать нормальной, мужское течение с сексуальной целью генитальной организации, переживания которой заполняют весь период, предшествовавший вторичному заболеванию. Они непосредственно связаны со сценой с Грушей, заимствуют у этой сцены навязчивый характер возникающей припадками и вдруг исчезающей влюбленности, причем ей приходится бороться с задержками, исходящими из остатков инфантильного невроза. Наконец, посредством сильного прорыва к женщине он завоевал себе полную мужественность; с этого времени он крепко держится этого сексуального объекта, но радостей от этого не испытывает, потому что сильная теперь совершенно бессознательная склонность к мужчине, сконцентрировавшая в себе все силы прежних фаз развития, постоянно отрывает его от женщины и заставляет сильно преувеличивать, в промежутках, свою зависимость от женского объекта. Приступая к лечению, он жаловался, что не может долго оставаться верным женщине, и вся работа направилась на то, чтобы открыть ему его бессознательное отношение к мужчине.

Прибегая к краткой формулировке, можно сказать, что отличительной чертой его детства было колебание между активностью и пассивностью, его юности – борьба за мужественность и периода жизни с момента заболевания – борьба за объект мужских устремлений. Повод к его заболеваниям не совпадает ни с одним из «типов невротических заболеваний», которые я объединил как специальные случаи «несостоятельности», и таким образом обращает внимание на известный изъян в перечисленном ряду типов. Он заболел, когда органическая болезнь гениталий разбудила в нем страх кастрации, нанесла смертельный удар его нарциссизму и заставила его отказаться от ожидания исключительной к себе благосклонности судьбы. Он заболел, следовательно, благодаря нарцистической «несостоятельности». Эта огромная сила его нарциссизма вполне согласуется с другими признаками сексуального развития, протекавшего с задержками, а именно с тем, что его гетеросексуальный любовный выбор при всей своей энергии содержал так мало психических устремлений и что гомосексуальная установка, настолько более близкая нарциссизму, с такой настойчивостью проявлялась у него, как бессознательная сила. Разумеется, при таких нарушениях психоаналитическое лечение не может произвести внезапного переворота и сравнить его развитие с нормальным; оно в состоянии только устранить препятствие и расчистить пути к тому, чтобы жизненные влияния могли дать развитию лучшее направление.

Как особенности его психического существа, раскрытые психоанализом, но не выясненные и соответственно не подвергшиеся непосредственному воздействию, я называю упомянутую уже устойчивость его фиксации, невероятное развитие наклонностей к амбивалентности и, как третью черту конституции, заслуживающую названия архаической, способность сохранять одновременно годными к функционированию самые различные и противоположные либидинозные привязанности. Постоянное колебание между этими привязанностями, долгое время как бы включавшее всякое окончательное изживание и продвижение вперед в лечении, преобладало во всей картине болезни последнего периода, которой я здесь могу лишь слегка коснуться. Вне всякого сомнения, это была черта, характерная для бессознательного, но перешедшая у него и на достигшие сознания процессы. Но эта черта проявлялась у него только на результатах аффективных переживаний, в области чистой логики он проявил, наоборот, исключительное умение в улавливании противоречий и непонятного. Благодаря этому его душевная жизнь производит то же впечатление, что и древняя египетская религия, столь непостижимая для нас, так как она сохраняет все ступени развития одновременно с конечными результатами, самых древних богов и значения божества наряду с самыми последними, располагает в одной плоскости то, что в ходе развития других составляет глубокие наслоения.

Я довел до конца то, что хотел сообщить об этом случае заболевания. Только еще две из многочисленных проблем, которые этот случай затрагивает, кажутся мне достойными особого упоминания. Первая касается филогенетически унаследованных схем, под влиянием которых жизненные впечатления, как под руководством философских «категорий», укладываются в определенный порядок. Я готов защищать взгляд, что они составляют осадки истории человеческой культуры. Комплекс Эдипа, обнимающий отношения ребенка к родителям, принадлежит к числу этих схем или, вернее, составляет известный пример этого рода. В тех случаях, когда переживания не соответствуют унаследованной схеме, совершается переработка их фантазий, работу которой проследить в деталях было бы безусловно полезно. Именно эти

случаи лучше всего могут показать нам самостоятельное существование схем. Мы часто можем заметить, что схема одерживает победу над индивидуальным переживанием, как, например, в нашем случае, когда отец становится кастратором и угрозой детской сексуальности, несмотря на отрицательный, в общем, комплекс Эдипа. Другое влияние этой схемы выражается в том, что кормилица занимает место матери или сливается с нею. Противоречия между переживанием и схемой доставляют, по-видимому, богатый материал детским конфликтам.

Вторая проблема стоит близко к этой, но она несравненно более значительна. Если принять во внимание отношение семилетнего ребенка к ожившей «первичной сцене». или даже если только подумать о гораздо более простых реакциях 1*1/2* —годовалого ребенка при переживании этой сцены, то нельзя не согласиться с мнением, что у ребенка при этом проявляется влияние своего рода трудноопределимого знания, чего-то похожего на подготовку к пониманию В чем оно может состоять, – об этом у него нет никакого представления, у нас имеется только великолепная аналогия с глубоким инстинктивным знанием у животных.

Если бы и у человека существовало инстинктивное знание, то не было бы ничего удивительного в том, что оно преимущественно касалось бы процессов сексуальной жизни, хотя никоим образом не ограничивалось бы только ими. Это инстинктивное составляло бы ядро бессознательного, примитивную душевную деятельность, которая впоследствии низвергается с трона и закрывается развивающимся у человека разумом; но часто оно, быть может у всех, сохраняет способность притянуть к себе высшие душевные силы. Вытеснение было бы возвращением к этой инстинктивной ступени, и человек расплачивался бы таким образом за свои великие завоевания своей наклонностью к неврозу, а самая возможность возникновения неврозов доказывала бы существование прежней инстинктивной предварительной ступени психического развития. Значение же ранних травм в детстве заключается в таком случае в том, что последние доставляют материал этому бессознательному, защищающий его от полного поглощения последующим развитием.

Мне известно, что подобные мысли, подчеркивающие унаследованный филогенетически приобретенный момент душевной жизни, высказывались с различных сторон, и я даже думаю, что им слишком поспешно уделялось место в психоаналитических взглядах. Они мне кажутся допустимыми только тогда, когда психоанализ, сохраняя вполне корректную линию различных инстанций в добытом им материале, доходит до следов унаследованного после того, как он проник сквозь все наслоения индивидуально приобретенного.